

---

Г. Б И Л Л И Н Г

---

**ОДИН**

---

**В**

---

**АНТАРК**

---

**ТИКЕ**

---





---

Г. Б И Л Л И Н Г

---

**ОДИН**

---

**В**

---

**АНТАРК**

---

**ТИКЕ**

---

---

ГИДРОМЕТЕОИЗДАТ

---

ЛЕНИНГРАД

---

1969

---

Graham Billing  
Forbush and the Penguins  
New York — Chicago — San-Francisco  
1966

перевод с английского В. В. Кузнецова

Герой книги Ричард Форбэш, молодой новозеландский ученый-орнитолог, в течение пяти месяцев (с октября по февраль) живет отшельником в одинокой антарктической хижине, кстати, той самой, где в 1908 году зимовал Шеклтон со своими людьми, наблюдает жизнь пингвинов, изучает их привычки, ведет дневник наблюдений. Форбэш видит в птицах не просто объект наблюдения, а соседей, «братьев меньших», храбро отстаивающих свое право на существование в суровых условиях Антарктики.

Грэм Биллинг, как и герой его произведения, провел в Антарктике полтора года. Поэтому его описания антарктической природы — ледников, гор, бурана — яркие, впечатляющие. Интересны метеорологические наблюдения и описания психологии и быта ученого, работающего в одиночку в трудных условиях Антарктики.

Г. БИЛЛИНГ

### Один в Антарктике

Редактор Л. А. Зельманова

Худ. редактор В. А. Евтихийев, художник Ю. С. Детинкин

Тех. редактор Г. В. Ивкова, корректор Е. П. Баскакова

Сдано в набор 27/VI 1968 г. Подписано к печати 22/XI 1968 г. Бум. тип. № 3 60×84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Бум. л. 4,25. Уч.-изд. л. 8,05 Печ. л. 8,5. Тираж 150 000 экз. ПЛ-240  
Заказ 3170. Цена 38 коп.

Гидрометеорологическое издательство Ленинград, В-53, 2-линия, д. № 23

Типография им. Анохина

Управления по печати при Совете Министров Карельской АССР  
г. Петрозаводск, ул. «Правда», 4

7-3-4

3-1968

## ХИЖИНА НА МЫСЕ РОЙДС

Молодой новозеландский ученый, орнитолог, в течение пяти месяцев живет в домике Британской антарктической экспедиции Э. Шеклтона и ведет наблюдения за пингуинами Адели, колония которых находится вблизи его жилья. Он выполняет задание профессора Веллингтонского университета. Подсчитывает количество пингвинов в колонии, метит птиц, следит за их поведением, узнает, сколько пингины снесли яиц и какова их дальнейшая судьба, проникается чувством ненависти к разбойникам-поморникам, которые живут за счет этой колонии, похищая у пингвинов их яйца и нападая на беззащитных птенцов. С возмущением воспринимает он посадку прилетевшего к нему американского вертолета, приземлившегося вблизи колонии и распугавшего пингвинов, недавно вернувшихся на свое старое гнездовье.

Герой книги Форбэш — лицо вымышленное, но с первых же страниц книги становится совершенно ясно, что автор описывает свои переживания, свои мысли и события, участником которых был он сам. Кроме имени героя, в книге все реально, все соответствует действительности.

На западном побережье острова Росса, на мысе Ройдс, действительно находится дом, построенный в 1908 году экспедицией известного английского полярного исследователя Э. Шеклтона. Эта экспедиция впервые завезла в Антарктиду автомобиль, обломки которого до сих пор валяются на свалке около дома. Автомобиль оказался непригодным для передвижения в Антарктиде — колеса его проваливались в снег, и он не смог пройти даже километра. Здесь же валяются и оставшиеся от Британской экспедиции тюки сена. Они предназначались для пони, на которых Э. Шеклтон рассчитывал как на основное транспортное средство.

В этом доме долгие зимние месяцы 1908 года провели 15 человек. С наступлением южно-полярной весны они отправились в походы в глубь ледяного континента. Партия, возглавляемая Э. Шеклтоном, устремилась к Южному полюсу. Четверка отважных полярников прошла по снежной равнине шельфового ледника Росса и успешно преодолела крутые, изобилующие опасными трещинами склоны ледника Бирдмора, оставляя по пути склады продовольствия, вышла на внутриматериковое ледниковое плато, возвышающееся над уровнем моря почти на 3000 метров. Однако Южного полюса Э. Шеклtonу достигнуть не удалось. Один за другим погибли пони, которые, как убедились полярники, оказались мало пригодными для передвижения в суровых условиях Антарктиды; путешественники страдали от сильных морозов и метелей. Наконец иссякли запасы продовольствия, и они, не дойдя до полюса всего лишь 180 километров, повернули обратно. Южный полюс был впервые достигнут три года спустя другим полярным исследователем — норвежцем Р. Амундсенom.

Трое из тех, кто зимовал в этом доме, отправились на поиски южного магнитного полюса. Их поход был более удачным.

Пешком, таща за собой санки с походным снаряжением, продовольствием и приборами, они достигли места, где магнитная стрелка, подвешенная на горизонтальной оси, стоит вертикально, а горизонтальная составляющая магнитного поля равна нулю.

Южный магнитный полюс оказался на Земле Адели, на расстоянии не более полутора километров от дома на мысе Ройдс. В этом, также очень трудном походе участвовал молодой австралийский ученый Д. Моусон,

посвятивший всю свою жизнь исследованию Антарктики и получивший на этом поприще широкую известность.

Все в доме напоминает Форбэшу о людях, живших здесь полвека тому назад: комната, в которой уединялся глава экспедиции Э. Шеклтон, спальные мешки, сохранившие запах пота, посуда и остатки продуктов с этикетками 1906 года. Сам дом давно уже объявлен историческим памятником, и Форбэшу, кроме выполнения научной программы, вменено в обязанность быть его хранителем.

За полвека многое изменилось в Антарктике. В тридцати километрах от дома Э. Шеклтона с 1956 года существует база американской антарктической экспедиции — Мак-Мёрдо; годом позже в трех километрах от нее новозеландские полярники открыли свою научную станцию — Скотт. С этой станции и прибыл на мыс Ройдс Форбэш. В Антарктику из Новой Зеландии он был доставлен за несколько часов на современном турбовинтовом самолете.

Близость крупной антарктической базы, на которой летом скапливается более тысячи человек, чувствуется в домике на мысе Ройдс. Сюда доносится гул самолетов, приземляющихся и взлетающих с аэродрома Мак-Мёрдо, мимо мыса проходит караван кораблей, который ведут мощные современные ледоколы, к историческому домику прилетают на вертолете вездесущие корреспонденты. Форбэш снабжен радиостанцией и ежедневно связывается со станцией Скотт. Получает и отправляет письма в Новую Зеландию.

Однако в переживаниях Форбэша преобладает чувство гнетущего одиночества. В течение долгих пяти месяцев он прикован к домику на мысе Ройдс. Прикован чувством долга, необходимостью выполнить обширную программу научных наблюдений за колонией пингвинов Адели, приходящих сюда каждый год с севера, со стороны открытого океана. А это нелегко. Нелегко жить одному столь долгое время, а тем более в Антарктиде.

Описания пингвинов и их злейших врагов — поморников исключительно интересны. Здесь чувствуется счастливое сочетание несомненного литературного таланта автора с профессиональными знаниями ученого.

Изучение птиц Южной полярной области, которое ведется и участниками советских антарктических экспедиций, вызвано не просто праздным интересом. Это необходимо для решения не только ряда биологических проблем, но и вопросов, связанных с палеогеографией и современной географией Антарктики.

Книга читается с большим интересом, и нам кажется, что она будет иметь успех у широких кругов советских читателей.

*Кандидат географ. наук,  
начальник 11-й зимовочной  
антарктической экспедиции  
Л. И. ДУБРОВИИ*

**1** КОГДА ВЕРТОЛЕТ УЛЕТЕЛ И ШУМ ЕГО двигателей превратился в едва осязаемое барабанными перепонками колебание воздуха, Форбэш ступил в середину выложенного из камней круга. Он глядел на курящуюся громаду Эребуса и молил ниспослать ему удачное лето. Взамен он обещал быть честным, добросовестным. И камни эти, выкрашенные желтой краской, которая местами полиняла и стерлась от снега и вулканической пыли, приносимой метелями от мыса Ройдс, как-то сразу показались ему надежным убежищем. И оставлять это убежище он не решался. Потрясенный ледяным безмолвием, окружившим его, он вдруг представил, что у ног его расстилается ковер травы, а камни — это вовсе не камни, а коровьи лепешки или грибы. Тишина. Черно-белый мир был недвижим и казался одушевленным: над горой Эребус гигантскими валами вздымались и падали клубы дыма.

Выложенный из камней круг, служивший посадочной площадкой для вертолетов, находился на вершине невысокого холма, между бухтой Черный ход и самим мысом. «Где же тут север, юг, восток, запад?» — подумал Форбэш и, словно картушка компаса, начал описывать полный круг, как бы ища полюс, но не найдя его из-за близости к нему. Начни с горы Эребуса — этого сторбившегося гиганта, с грохотом изрыгающего клубы сернистого дыма, приподняв широкие плечи и прижав крутые и жесткие свои бока к застывшему морю. Теперь повернись против часовой стрелки, минуя Птичью гору, рядом с Эребусом кажущуюся всего лишь ледяным торосом. А теперь отцепи свой взгляд от ландшафта и кинь его к северу, да, да, туда, где за Птичьим мысом простирается заспанное море.

На севере до самого горизонта тянулись ледяные поля — пронзительно белые, с голубизной утиного яйца, лишенные снежного покрова торосистые льды, — стиснутые с боков, вздыбленные, громоздящиеся друг на друга, похожие на груды битого шифера, наваленного вдоль побережья, у обрывистых склонов застрявшего айсберга. «Водяного» неба не было видно и следа. Небо было лишено того иссиня-черного оттенка, который свидетельствует о близости открытого моря. Лишь далеко-далеко, на севере, где находится зимняя колония тюленей и пингвинов, прглядывала белоснежная полоска — серебряная кайма, оторачивавшая сплошную пелену облаков над морем Росса.

— Лед нынче держится долго, — произнес Форбэш. Собственный голос показался ему тонким, невыразительным среди стылых

скал, заглушавших всякий звук. Лед все еще был прочен. Животные беспрепятственно могут двигаться к югу; некоторые — к своей гибели. Им придется покрыть пятьдесят—шестьдесят, а то и все сто миль, передвигаясь по замерзшему равнодушному морю. Пингвины мелкими шажками зашаркают по неровным ледяным полям, покатаются на животе по снежным сугробам или гладкому зеленому льду, отталкиваясь ластами. За ними, с неохотой оставив море и рыбную ловлю, последуют поморники, паря над колоннами, шеренгами, отрядами пингвинов, готовые при случае полакомиться мертвечиной. Тюлени поплывут к югу, от одной отдушины к другой, выгрызая их во льду. Если зубы пригнутся — это гибель. С незаметным приходом весны жизнь продвигалась к югу, несмотря на льды, повинувшись лишь ритмичному — почти горизонтальному — вращению солнца; к югу — на встречу слепящему полярному дню, которому нет конца.

Форбэш посмотрел на запад, затем, оглядев залив Мак-Мёрдо, окинул взглядом Гранитную гавань, Шоколадный мыс, Мраморный мыс, Масляный мыс. Пункты побережья были названы так гордыми людьми, которые полвека назад пришли покорять Антарктику. Он с наслаждением повторял мысленно эти названия, восхищенный их обыденностью. Отныне это были названия близких, родных мест — они подтверждали его антарктическое подданство. Полногрудый глетчер Феррара устремлялся в пролив. К югу от него возвышалась гора Листер, венчающая хребет Королевского общества, названный так в честь английской науки. Еще южнее виднелся пик ДисCOVERи, смахивающий на лысого старика. Снежное поле позади него и склоны глетчера Келитц были залиты оранжевым пламенем вечернего солнца. Еще ближе к югу поднимались утес Минна, острова Черный и Белый, виднелась кромка шельфового ледника Росса, Великий ледяной барьер.

Форбэш снова повернулся на восток. На этот раз он глядел на милый его сердцу остров Росса, дом полярных исследователей, на холм Обсервейшн, Замковую скалу, полуостров Хат-Пойнт. Разглядывал остроконечные островки, разбросанные по бухте Эребус, и ледяные складки глетчера с таким же названием. Его взор ласкали величественные, ниспадающие к морю крутые склоны глетчера Барн. Потом Форбэш снова взглянул на курящуюся вершину Эребуса. Его ноги в теплых, но неуклюжих маклаках — грудах шерсти и резины — увязали в податливой россыпи вулканического гравия.

И тут на него пахнуло ветром. Ветер возник внезапно и тотчас стих. Но сопровождавший его звук был необычен. Он походил

на шуршание, хныканье, в нем была какая-то с трудом сдерживаемая сила, которую Форбэш успел почувствовать, хотя ветер лишь едва коснулся его тела, облаченного в зелено-оливковый анорак и такие же штаны.

Над кругом из камней взвилась и тут же спала спираль пыли. И снова воцарилась полная тишина. От нее даже позванивало в ушах.

Форбэш поежился. Тепло кабины, которое еще сохранялось в его теле, теперь улетучилось; в ход пошли ресурсы собственной энергии. Ему показалось, будто он стал уменьшаться. Он поглубже засунул ступни в густую шерсть маклаков, прижал к ладоням скрюченные пальцы. От подбитых цигейкой рукавиц на них остался едва ощутимый слой жира. Из нагрудного кармана достал другие, ветронепроницаемые рукавицы и медленно провел ими по ладоням.

Рядом с ним на земле было свалено его имущество — пицца, тепло, свет — то, что позволяло ему уцелеть. И все это уместилось в куче запачканных ящиков, парусиновом тюке и рюкзаке. Тут была полевая рация, с помощью которой ему надо будет поддерживать регулярную связь с базой Скотт, находящейся в тридцати невыразимо долгих милях, — громоздкое сооружение, обшитое стеганой зеленой парусиной, выгоревшей на солнце и вылинявшей от снегопадов и метелей. Рядом стояли жестянки с горючим, кухонный ящик, куда упакованы были примус, алюминиевый горшок, герметический судок для варки, миски, кружки, ножи и вилки, туалетная бумага для вытирания посуды, скребок, мыльный порошок. В четырех ящиках с продовольствием были тщательно уложены пластиковые мешочки с порошкообразными, сухеными или прессованными продуктами. Рядом стояли ящик с деликатесами — вареньем, медом, сардинами; картонная коробка, в которую повар с базы Скотт чего только не напихал: свежего мяса, консервированной земляники, орехов; ящик с книгами и канцелярскими принадлежностями; ящик с химикатами для консервирования; инструменты для препарирования, банка краски, клеймо для клеймения пингвиньих лап, связки пронумерованных повязок на ласты; деревянные колышки для маркированных гнезд. Сеть, бинокли, фотокамеры; большой красный мешок из парусины с надувным матрасом, кусок пенопласта, тяжелые спальные мешки на пуху — внутренний и наружный; палатка в зеленом парусиновом чехле, два ледоруба, репшнур, лопата, набор крючьев, два ящика консервированного пива.

Форбэш снова пошевелил ногами, увязшими в гравии. Казалось, не прошло и минуты с тех пор, как он остался один.

— Что ж — если это все мое добро, надо куда-то его пристроить, — произнес он вслух и снова поразился своему голосу. Сначала он схватил тяжелый ящик с рацией и начал быстро, почти бегом спускаться к хижине по извилистой тропинке, по которой катились камешки. Не считая сугробов, наметенных за зиму, все оставалось таким же, как и прошлым летом. Жестянки с мясными консервами, ливером и луком, студень, мука, галеты, пикули, банки с вареньем, перцем и специями, бутылки с солью и приправами по-прежнему стояли рядом вдоль южной стены. К крыльцу прислонились две пары старых саней. Только, пожалуй, их полозья чуть больше пообносились от ветра да одно или два крепления порвались, обтрепавшись под воздействием пронзительных зимних буранов. А может, даже и не порвались. Собачья конура была еще цела. Измочаленный конец оборванной веревки сиротливо валялся рядом. Тут же лежали тюки прессованного сена, совсем свежего на вид, но промерзшего насквозь, жесткого, как камень. На свободном от снега клочке среди гальки и гравия были рассыпаны кукурузные зерна. На холмике возле хижины, рядом с остатками флагштока, стояла вылинявшая метеобудка. Доски выцвели, рассохлись, поседели и побурели. Годичные кольца были изъедены, зато сохранились твердые кольца — следы зим тех краев, где растут деревья.

— Иди, иди, — произнес Форбэш, приближаясь с каким-то волнением к хижине. Ему не хотелось нарушать таинственность прошлого. Бредя по сугробу, он споткнулся обо что-то твердое. Положив наземь рацию, он принялся разгребать снег руками и обнаружил металлическое колесо с остатками деревянной шины. Это были обломки автомобиля, привезенного сюда Шеклтоном в 1908 году. Того самого автомобиля, который тогда так и не завелся. В гараже возле хижины по-прежнему стояли ящики с горючим и банки со смазкой.

— Черт возьми! Я только что слез с вертолета, тащу радио в эту хижину, которая, кажется, лишь вчера построена. И вдруг на припае эта допотопная колымага. Проклятая развалина, сохранившаяся с 1908 года.

Волшебство исчезло. Форбэш поднял рацию и, хрустя по сугробу, пошел к двери.

Хижина на мысе Ройдс выглядела впечатляюще. Если встать перед дверью, то казалось, что строение как бы устремляется

к небесам и что оно так же, пожалуй, вечно, как дымящаяся гора Эребус. Сверху же, с вертолета, хижина представлялась крохотной конурой, прилепившейся к черным скалам и непонятно зачем оказавшейся среди снегов. Но Форбэшу, остановившемуся в десяти футах от нее, чтобы положить наземь рацию, хижина показалась огромной. Форбэш полагал, что уже свыкся со своим одиночеством, и все же радио было для него нитью, связывавшей его с жизнью, с человеческим теплом, символизировало его принадлежность к роду людскому. Подойдя к двери хижины, у которой был какой-то приветливый, уютный вид, он полез за пазуху, чтобы достать охотничий нож. Запомытовав, что хижина заколочена на зиму, он не захватил с собой припасенный заранее молоток. Возвращаться же за ним было слишком далеко. К тому же Форбэшу не терпелось попасть внутрь дома.

Сжимая руками в неуклюжих рукавицах рукоять ножа, он засунул клинок между косяком и доской, приколоченной поперек двери. Чтобы не упасть с крыльца, он прижался к лянному серому дереву двери. Доски не поддавались. Казалось, груз минувших лет удерживает их. Он крепко стиснул пальцы, гвозди закрипели. Он тотчас почувствовал, как теплая волна пронизала плечевые мышцы. Это горячее, находящееся во мне, превращается в энергию, подумал Форбэш. Любопытно, в здешних местах так явственно ощущаешь процессы, происходящие в тебе, ощущаешь это балансирование жизни. Клинок согнулся, но прежде чем он успел сломаться, доска отошла от двери.

— Уф, — произнес Форбэш, привалившись к двери и касаясь щекой ее шершавой поверхности. — Вот и готово дело.

Он повернул деревянную вертушку и отворил дверь. Темень. Недлинный темный коридор, и еще одна дверь. Форбэш прыгнул внутрь и, пройдя коридор, с размаху ударился о низкую балку. Он аж присел, не дойдя до внутренней двери.

«Идиот, идиот несчастный, кретин... И как это я забыл?» — мысленно выругался он и схватился за дверную скобу, другой рукой через башлык растирая ушибленное место. В 1908 году эта балка, служившая опорой для резервуара с ацетиленом, была предметом постоянных шуток у людей Шеклтона. Форбэш отлично знал об ее существовании, словно сам зимовал в этом тесном убежище. И все-таки забыл. Ему почудилось, что он — один из членов экспедиции Шеклтона. Он распахнул внутреннюю дверь и стал разглядывать полусосвещенное помещение. В нем стоял запах стального металла и парусины, прелых, смерзшихся спальных

мешков; пахло сапогами и едва слышно — потом, пропитавшим старую одежду. Надо было сперва снять ставни, подумал Форбэш. Но теперь, очутившись внутри, он не захотел уходить, вкушая ощущение очага, жилища, зимнего приюта. Он вспомнил, словно сам присутствовал при этом, взволнованный рассказ Шеклтона о том, как однажды в 1908 году, когда кратер вулкана адел в кромешной тьме ночи, раздалось свирепое шипение пара. В снегу, лежавшем в седловине между Птичьей горой и вулканом, зияло гигантское отверстие, откуда в небо хлестала струя пара и серы высотой в триста футов. Хотя все это происходило вдалеке, зрелище было жуткое.

Форбэш ступил в центр общей комнаты, глухо топая по деревянному полу ногами, обутыми в маклаки. Постепенно глаза его привыкли к сумраку. На стене справа он разглядел портрет короля Эдуарда и королевы Александры. Под островерхой кровлей и строилом была подвешена волокуша. Тут жарко не будет. Ну почему бы им было не настлать тут низкий потолок? Справа же смутно вырисовывалась дверь в комнату Шеклтона — место его уединения, привилегия вожака быть наедине с собой, отгородившись от запахов, голосов, смеха, дурного настроения дюжины людей, оставшихся с ним на первую зимовку. Широкоплечий Шеклтон, великий вождь. Это было его убежище, тихая гавань человека, совершающего подвиг.

Слева Форбэш увидел нечто вроде алькова, еще одну, едва различимую дверь в стене, сколоченной из досок от ящиков с надписью «Британская антарктическая экспедиция 1906 года». То была комната для проявления фотопластинок. В алькове, задержанном черным занавесом, из ящиков, поставленных на бок, была сложена скамья, рядом с ней — стол из тиковой двери с какого-то славного полярного судна. Он был закапан стеарином, залит керосином; на нем зияла неуместная черная скважина: ведь теперь это была не дверь, а стол. По ту сторону стола стоял большой ящик. Наверно, с едой, подумал Форбэш, с топливом, разными припасами. Он это выяснит потом, когда захочет поразвлечься. Ящик этот оставили биологи, побывавшие здесь прошлым летом. Возле левой стены стояли две большие керосиновые печки. В буфете, сколоченном все из тех же ящиков, разместилась банка с замерзшим повидлом, сахар, пакеты с суповым порошком, яйцо, половина сморщенного лимона, тюбик из-под зубной пасты, ободраный детектив и дешевое издание «Аравия десерта» Чарльза Дафти. Должно быть, оставили впопыхах. Подумать только, куриное яйцо.

Протянув руку, Форбэш опустил тяжелый парусиновый занавес, натянутый на проволоку. Ткань почти касалась пола. Это был кусок паруса. От «Нимврода» или от «Авроры», а может, от «Дисковери» или «Терра-Новы», одного из тех нелепых и бесстрашных суденышек, которые в век дерева и парусов, а не стали и электричества, отваживались забираться в эти широты. Теперь это был занавес, который будет сохранять для Форбэша тепло, — старый занавес, неумело прошитый полвека назад медной проволокой каким-то иззябшим моряком или заблудившимся, обозленным землепроходцем.

В глубине хижины стояла оранжево-ржавая плита, некогда алевшая, источая ночью тепло. На ней он разглядел черный, закопченный котелок, большой горшок, синий с белым эмалированный кувшин, две решетки для приготовления тостов и кочергу. Вдоль задней стены выстроились рядом жестянки и бутылки; два застывших окорока, обшитые мешковиной, с клеймом «1906», висели на крюках. Слева и справа тянулись нары с грудями брошенных на них стылых спальных мешков из оленьей шкуры с оцетинившимися волосками. Казалось, на нарах кто-то спит и вот-вот проснется. Форбэш знал, что это лишь игра воображения и что спальные мешки, покрытые копотью от ворвани, которую жгли тут отбившиеся от своих экспедиций люди, — мешки эти оставлены в таком виде смельчаками, которые, вылезши из них холодным утром, дрожа от озноба, отправились в свой последний поход.

Форбэш забывший было об ушибе, вдруг снова почувствовал боль и начал растирать темя. На плите он обнаружил книгу посетителей, где расписывались все, кто захаживал в хижину Шеклтона: вертолетчики с ледоколов, пробывавшихся в пролив Мак-Мёрдо, чтобы попеть к рождеству; американские туристы, которые ежегодно по весне прибывали сюда на недельный пикник среди льдов; каюры с базы Скотт, приезжающие на собаках с целью тренировки перед началом летней страды, когда им придется работать на Трансантарктическом хребте. Кроме того, тут бывали биологи, зоологи, лимнологи, геологи, лichenологи, гляциологи, геохимики, геофизики, маммалиологи, а также измученный работой персонал с базы Скотт, приезжавший сюда немного отдохнуть.

«Надо будет и мне расписаться в книге посетителей», — подумал было Форбэш. Но тут же решил, что это глупо: ведь он не посетитель. Строеение это на целых пять месяцев станет его домом, а сам он — его хозяином, которому придется принимать ораву

гостей в новом сезоне. Он усмехнулся, как ему показалось, иронически, снял с правой руки рукавицу и полез в карман анорака за карандашом.

Дата: 16 октября. Имя, фамилия: Ричард Джон Форбэш. Домашний адрес: база Скотт, Антарктика (нет, не то). Крайстчерч, Новая Зеландия (тоже не то). Космополит и ученый (черт возьми, не то). Каков же ваш адрес? А вот каков: хижина Шеклтона, мыс Ройдс, Антарктика. Замечания: Все тут великолепно (нет). Прекрасный день (нет). Превосходное зрелище (нет). Мы склоняем головы перед великими людьми прошлого (не то, черт возьми!). Н.Э.В.З. (Варварское сокращение из антарктического просторечья: «Ненавижу это вшивое заведение». Тоже нет.) Так ничего и не написав, он закрыл книгу. Натягивая рукавицу, Форбэш облокотился о ржавую плиту. Он прищурился, взглянув на залитый светом проем двери. В хижине стало снова темно. В прямоугольнике двери он видел вечернее небо, освещенные скалы, желтую от гуано долину — место сборища пингвинов, дальние горы. Ричард Джон Форбэш. Ну, конечно, его зовут именно так. 25 лет от роду. Рост шесть футов четверть дюйма. Вес 166 фунтов согласно неточным весам в грязной бане на базе Скотт. Объем груди 39 дюймов, размер головного убора  $6\frac{3}{4}$  (модная шляпа) и  $7\frac{1}{2}$  ( меховая шапка — ведь волосы отрастут). Телефон 73-299 (только кто-то будет мне звонить?). Длина брюк 32 дюйма, кальсон — 34 дюйма. Размер воротника 15 дюймов. Холост. Застрахован на 5000 фунтов (не слишком ли дорого?). Сделаны прививки против дифтерии, тифа, столбняка, полиомиелита и оспы. Группа крови А, Rh положительное, зубы целые, зрение хорошее, бронхиальные трубы функционируют нормально, хотя наблюдается некоторая сухость при низкой влажности воздуха антарктических широт. Пол мужской (ох, как это болезненно ощущаю).

Форбэш снова сдернул рукавицы, полез в карман за сигаретами. Из мятой пачки выбрал одну, из которой высыпался не весь табак. Закурив, он сплюнул сохшиеся табачные крошки. Снял шерстяную шапку; в волосах, еще не успевших отрасти, нащупал шишку и вздохнул. Под порослью бороды зудился подбородок. Форбэш поскреб его, подумав о том, что он у него ни слишком округл, ни чересчур остер, ни слаб, ни безволен, ни чересчур выпячен вперед. Но какое значение имеет его внешность? Не все ли равно, голубые у него глаза, зеленые или карие (на самом деле они светло-голубые); чистое у него лицо или в прыщах от редкого умывания, умеет он говорить или нет, поет или же не

поет, чистит он ногти и зубы или же нет? И все-таки, подумал он, я буду жить так же, как жил бы в другом месте, и постараюсь быть по-прежнему аккуратным, чистоплотным и собранным. Сигарета погасла. Раскуривать снова не стоило: на морозе у нее был резкий, сухой вкус.

— Что же это я! У меня же работа стоит, — бодро и громко воскликнул Форбэш и зашагал вверх по холму, к груде багажа. За пять заходов он перенес свое имущество к хижине и хотел было там, на гравии, в неглубоком сугробе и сложить. Это выглядело бы практично и солидно, как и неиспользованные припасы, оставленные Шеклтоном. Но после некоторого препирательства с самим с собой он передумал и начал таскать ящики внутрь помещения.

Сначала он положил в холодную кладовку слева от коридора — меж наружной и внутренней дверью — картонную коробку с морожеными бифштексами, почками, беконом, печенкой, ливером, цыплятами и сладким мясом.

Внутри помещения он сложил ящики с продовольствием и оборудованием. Несколько старых ящиков он подвинул к столу и, уложив их вдоль стены, соорудил нары, на которые бросил надувной матрац и расстелил спальные мешки. Он все еще не смел снять с окон ставни, чувствуя себя здесь чужаком. Однако это не помешало ему распаковать свои личные вещи — дорогие для него безделицы, которые всякий раз вдруг оказывались в его багаже, хоть он и бранил себя за сентиментальность. На полках вдоль южной стены он пристроил обломок зеркала, расческу, сломанную щетку для волос, гипсовую статуэтку Венеры Виллендорфской, зубную щетку, мыльницу, фотографию Барбары, вставленную в рамку, медальон с изображением св. Христофора на ржавой от пота цепочке, ящик из-под сигар со связкой сентиментальных писем, высушенную пингвинью ногу.

— Вот и все, что мне нужно, — проговорил он.

На соседнюю полку он поставил книги. Стихи Д. Х. Лоренса; специально посвященный Антарктике номер «Новозеландского журнала геологии и геофизики», «Вешние воды» Ивана Тургенева, карманное издание Оксфордского словаря. «Пингины *Pygoscelia*» Уильяма Дж. Слейдена, избранные произведения поэтов-метафизиков, десятка полтора дешевых изданий — главным образом детективы и «вестерны»; научный трактат о физиологии животных.

Распаковав ящик с кухонными принадлежностями, он достал оттуда утварь и аккуратно разложил на краю стола. Порывшись

в объемистом сундуке, он обнаружил пластмассовую миску, пластмассовое ведро, две коробки сардин и консервный нож (это было весьма кстати — свой он забыл), две заскорузлые от грязи тряпки — некогда посудные полотенца, которые он повесил на проволоку, и еще (благодарение судьбе!) большую сковороду. Форбэш поставил обе керосиновые печки на скамейку возле стола, а две керосиновые грелки — на пол, по обе стороны отгороженного «жизненного пространства». От этого стало уютней и вроде бы теплее.

А теперь, похоже, пора и ставни снять. Спокойно, уверенно, как он себе и обещал, Форбэш достал молоток и вышел на двор. Теперь у него есть жилище, пора показать его миру. Была полночь, солнце висело над самыми вершинами западных гор, так что скалы Мыса были покрыты тьмой, а нанесенные метелью сугробы казались монотонной белой пеленой — без рельефа, без перспективы. И хижина показалась родным домом после того, как, покинув ее надежные стены, Форбэш оказался в мире совсем ином с заходом солнца — мире не то чтобы враждебном, но столь безразличном, что ему захотелось поскорей оказаться в уголке, где он уже оставил частицу самого себя. Прислонившись к кипам сена вдоль северной стены, он стал отгибать молотком гвозди. Первый ставень снялся легко: дерево растрескалось. Форбэш прижался своим продолговатым носом к стеклу. В нем он не мог разглядеть ничего, кроме собственного тусклого отражения, скоро исчезнувшего под слоем инея. Неожиданно почувствовав усталость, он приложил лоб к оконной раме и ощутил холод стекла, от которого заломило глаза. Устояв перед искушением заняться самосозерцанием, Форбэш принялся за работу. Налегши как следует, он вскоре снял ставни со всех четырех окон.

Затем он взял лопату, ящик из-под продуктов и принялся вырезать из спрессовавшегося снега кубы. Это был его запас воды, который он сложил в проходе между внутренней и наружной дверью хижины. Устало, безразлично он подумал о рации и начал рыться в сумке, ища антенну. Размотав ее, он вскарабкался по санкам на крышу и вскоре оседлал крутой ее верх, словно слившись с низким небом, давившим на него самого, на хижину, темные скалы и даже на застывшее море. Он привязал конец антенны к толстому стальному тросу — одной из растяжек на случай пурги — и поспешно полез вниз, чтобы, двигаясь, согреться. Второй конец он привязал к бамбуковому шесту, укрепленному среди камней на холмике возле метеобудки. При первом же ветре шест сломается. Но пока связь у него налажена. Можно

разговаривать, посылать радиосигналы в это серое равнодушное небо. Когда он пошел назад, к двери, ему вдруг почудилось, что кто-то следует за ним. «Тут, должно быть, кто-то есть, тут кто-то есть», — подумал Форбэш. Мышцы на шее у него слегка напряглись, и он сразу понял, что, кроме него, здесь никого нет.

Закрыв за собой дверь хижины, Форбэш оглядел свой обжитой угол. Без ставней в хижине стало светло, всякая таинственность исчезла. «Действительно, здесь кто-то живет, — подумал Форбэш. — Это я. Вот мои пожитки, все, что у меня есть. Сперва добудем тепло». Из канистры он налил керосин поочередно во все горелки, печки и примус, стараясь не пролить горючее — в целях экономии, да и для безопасности. Он засвистел: примус весело гудел, снег в мятой алюминиевой кастрюле таял, рождая новое вещество, которое вскоре заклопочет, и среди этого безмолвия послышится новый звук.

Он снял рукавицы и маклаки и повесил их на гвоздь просушиться.

Забравшись в спальный мешок и прихлебывая первую чашку какао, густого и сладкого от сгущенного молока, он вспомнил про кролика. Он начал рыться в сумке и отыскал его, забавную резиновую игрушку с обвислыми ушами и кривой усмешкой. Форбэш улыбнулся. Он вспомнил голос Барбары, ее глаза, вопрошающие и смеющиеся, когда она протянула ему игрушку, объяснив, что он должен познакомить кролика с пингвинами и установить по их реакции, знакомо ли понятие «кролик» подсознательному началу пингвина как такового. «Во всяком случае, он посмеит тебя. И потом, он послушный, будет сидеть там, куда ты его посадишь».

Форбэш вылез из спального мешка и усадил кролика верхом на проволоку. Резиновые его ноги крепко сжимали ее.

— Черт возьми, какой у него глупый вид, — произнес он и снова полез в спальный мешок допивать свое какао. Кролик раскочивался и смеялся.

Форбэш снова полез в сумку, достал кларнет в потертом кожаном футляре и положил его на стол. «Не сыграть ли?» — подумал он. Был час ночи. Возможно, завтра начнут прибывать пингвины. Ощупывая рукой футляр, он прихлебывал какао, прижав к эмалированной кружке ладонь другой руки, чтобы согреться. В хижине было все еще холодно: чтобы согреть хотя бы один этот альков, понадобится несколько часов. Выходит, играть не стоит.

Он опять вылез из спального мешка, стянул с себя толстые твидовые штаны, фуфайку и пару носков, подвернул примус и грелку, вместо подушки подложил собственную одежду, натянул на голову спальный мешок и закрыл глаза.

**2** ФОРБЭШ ПРОСНУЛСЯ С СИЗЫМ ОТ СТУЖИ носом и услышал поскрипывание и звон кристаллов льда вокруг отдушины, которую он оставил в спальном мешке. Вытянув шею и откинувшись назад, он выглянул из своей норы. Движения его были осторожны. Не хотелось, чтобы льдинки упали на лицо. Отдушина, отсыревшая от его дыхания, а потом обледеневшая, походила на отверстие калейдоскопа. Хижина была залита светом. Шевелиться не хотелось. Он представил, как холодный воздух коснется тела, когда он высунет руки, чтобы встать. Он пошевелил пальцами ног, покачался на надувном матрасе, чтобы размять занемевшие бедра. Потом сел.

Сквозь южные окна врывались золотые снопы теплых солнечных лучей, и сквозь проем в пологе он видел большую плиту Шеклтона, пылавшую алым пламенем ржавчины. День стоял погожий, а он только продираал глаза: было уже полдесятого. Но ведь на мысе Ройдс, когда живешь в одиночку, время не имеет значения. Оно имеет значение лишь для пингвинов, торопливо шагающих по припаю на юг, к нему. Он был уверен, что птицы скоро придут. Сегодня вторник, 18 октября, и первые пингвины каждый год появляются на мысе Ройдс именно в этот день или же день спустя.

Форбэш с трудом вылез из тесного мешка и опустил ноги на пол. Он стоял, растирая руки, обтянутые шерстяной рубахой, в длинном вязаном белье. Пошевелил бедрами, коленями, чтобы поразмяться, потом торопливо облачился в одежду, лежавшую у него в изголовье, протер глаза, пятерней причесался. Воды для мытья не было. В кастрюле на примусе лежала глыба льда. Сев на сундук, он начал обуваться; сперва натянул грубошерстные гольфы, потом сами сапоги из нейлона и резины, зашнуровав их до колен наподобие *Bundschuhe*<sup>1</sup>.

— Сегодня, возможно, появятся пингвины. Целый день буду готовиться к их прибытию, а вечером свяжусь с базой. Потом

<sup>1</sup> *Bundschuhe* — высокие шнурованные штилеты (нем.). (Прим. перев.)

буду читать Тургенева. Нет, не Тургенева — эта книга про любовь, значит, печальная. Что-нибудь почитаю, потом выпью какао и пораньше лягу спать: ведь, если пингвины не придут нынче, завтра придут наверняка.

Форбэш был удивлен этой длинной, официальной речью. Он довольно усмехнулся и принял важное решение — разговаривать вслух. Собственный голос застал его врасплох, словно это разговаривал кто-то другой.

— Мне нужен шум, — произнес он громко и категорически, и слова застучали по его барабанным перепонкам, отдаваясь в пересохшей глотке и легких. С непокрытой головой, без рукавиц, он вышел на двор, чтобы взглянуть на день, мирно занимавшийся своим делом.

Небо было голубое и чистое. Вдоль лоцины позади хижины дул легкий ветерок. Казалось, это дышала на него гора, и он почувствовал ее мощь и близость. Дым поднимался сегодня прямо в небеса. Полоса сернистого желтого дыма тянулась по небу на высоте 13 000 футов и напоминала как бы подмости, на которых плясало солнце. Начало щипать уши, в кончиках пальцев он ощутил острую боль. Ветер трепал его волосы и холодными руками касался скальпа юноши.

Форбэш вздрогнул и поглубже засунул руки в карманы. Он съезжился, стиснул колени, прижал к бокам локти. Сморгнув нос, он почувствовал, как холод покалывает ноздри; казалось, будто крохотные ледяные иголки впиваются в плоть. Мыс дышал вечностью и покоем. Не слышно было ни единого звука. Такой полной тишины он не слышал никогда, даже у себя на родине, в горах, где летом в мураве всегда стрекочут кузнечики; в кочках, поросших травой, шепчет ветер, потрескивают ветки, когда олень ступит на них ночной порой, или же, чуя неминуемый обвал, стонут и скрипят горные склоны.

Окрестный мир был мертв, не считая теней, незаметно двигавшихся вокруг хижины, камней и обломков старого оборудования. Пингвинье стойбище казалось всего лишь желтым пятном позади замерзшего озера Пони, а горы на западе походили на фриз из бледно-серого камня, таявший в холодной антарктической мгле, стлавшейся за проливом Мак-Мёрдо, что в сорока милях отсюда.

Форбэш побрел назад, в хижину, зажигать грелки, печки и примус, чтобы согреться и подкрепиться кашей, беконом и кофе. Он отрезал от каравая лишь два ломтика хлеба. Повар с базы Скотт сунул ему три таких каравая.

Поставив еще одну кастрюлю снега — для мытья посуды, — он достал свои бумаги. Это были заметки о посещении пингвиньей колонии в прошлом сезоне, карты, на которые он будет наносить местоположение отдельных колоний, из которых состоит все пингвинье население, списки номеров колец для птиц, окольцованных биологами во время предыдущих кратких визитов; директива, врученная ему управляющим Антарктическим отделом департамента научных и промышленных исследований.

*Директива Р. Дж. Форбэшу из Биологической экспедиции на мыс Ройдс.*

«По прибытии на базу Скотт Вам надлежит подготовить продовольствие и оборудование для биологических работ, в количестве, достаточном для проведения исследований в течение пяти месяцев. Руководитель базы Скотт обеспечит вертолет, который доставит Вас на мыс Ройдс около 16 октября; посему Вам надлежит приложить все усилия к тому, чтобы подготовить нужное снаряжение к указанной дате. На мысе Ройдс Вы поселитесь в хижине Шеклтона, построенной для Британской антарктической экспедиции 1907—1909 г. Вам надлежит следить за тем, чтобы во время Вашего проживания в хижине ей не было нанесено какого-либо ущерба, поскольку строение представляет собой значительный исторический памятник на Антарктическом континенте. В силу Вашего проживания в указанном здании Вам надлежит выполнять обязанности его хранителя и следить за тем, чтобы посетители какой бы то ни было нации не повреждали его и не уносили какие-либо предметы в качестве сувениров».

Форбэш положил бумагу, насыпал мыльного порошка в уже теплую воду. Он тщательно вымыл посуду, протер ее туалетной бумагой, тут же решив обязательно отстирать затасканные кухонные полотенца. «Хранитель строения... Черт побери, я живу в историческом памятнике. Подумать только!» Вытирая тиковый стол, он особенно тщательно тер засаленные места.

«Хотя значительную часть сезона Вам придется пребывать в одиночестве и летнюю программу осуществлять самостоятельно, время от времени, возможно, к вам будут посылать помощника».

— В одиночестве... А на кой черт мне нужна чья-то компания? — произнес Форбэш, натянув пуховую фуфайку, и опершись

локтями о стол, сел на свою постель. Воздух все еще был холоден. «Хотя Биллу Старшоту будет невредно отлучиться с базы на рождество», — подумал он. Он с теплотой вспомнил Билла (он же Уильям Сэмюэл), напарника по прошлому сезону и земляка. Старшота топографа, картографа, с его страстью знать точно, где он находится, обвеховывать, чертить, записывать, — любознательного Старшота, который лишь недавно начал понимать, что в собственной голове компас у него не очень-то точен.

«Целью Вашей экспедиции является впервые проводимое подробное изучение состава колонии пингвинов Адели на мысе Ройдс с момента прибытия первых птиц (согласно наблюдениям Ваших предшественников — 18—19 октября); составление детальных карт колонии, а также отдельных ее участков; маркировка наиболее удобных для наблюдения гнездовых, с тем чтобы использовать их в качестве контрольных пунктов в последующие сезоны; кольцевание отобранной группы взрослых птиц и птенцов, а также проведение опытов маркирования птиц иными, по своему усмотрению, способами. Вам надлежит также произвести подсчет поморников Мак-Кормика, гнездящихся на мысе Ройдс, обращая особое внимание на поморников, поедающих яйца и нападающих на детенышей пингвинов в данном районе. По возможности Вам также следует отлавливать и кольцевать поморников — птенцов и взрослых птиц».

Поскольку колония на мысе Ройдс является самой южной колонией пингвинов, Вам следует уделить особое внимание изучению причин смертности в колонии — как в результате нападений поморников, так и вследствие климатических условий, которые особенно суровы здесь, у южной границы распространения пингвинов Адели».

— Надутый старый козел, — произнес Форбэш. Он сам составил проект директивы, но, как всегда, управляющий превратил обычные слова в неудобоваримый канцелярит. Форбэш взял вилку и ненароком почесал спину, тут же подумав, что скоро настолько зарастет грязью, что кожа его вовсе перестанет зудиться.

«При возможности и наличии времени, кроме регулярного подсчета сидящих на яйцах птиц, яиц, птен-

цов, холостых птиц и годовалых пингвинов, а также кроме регулярных наблюдений и записи данных о процессе высиживания, Вам надлежит обратить особое внимание на изучение физиологии пингвинов.

Для этого потребуется произвести препарирование, но поскольку, как полагают, население колонии не является стабильным, Вам следует строго ограничить количество птиц, отбираемых на предмет препарирования. Такого рода работа должна представлять общее исследование с целью изучения кровоснабжения отдельных органов тела, толщины жировой прослойки и состояния органов воспроизведения птиц в различные периоды ухаживания, высиживания и воспитания птенцов.

Вам также следует при любой возможности коллекционировать образцы яиц глистов, клещей и прочих паразитов, обнаруженных на птицах, и попытаться установить, являются ли пингвины их носителями только в период высиживания птенцов или же и во время нахождения в море.

Поскольку есть сведения, что население колонии постепенно уменьшается и что наличие людей, собак, авиации и вездеходов в районе пролива Мак-Мёрдо, возможно, является способствующим тому фактором, Вам надлежит приложить всяческие усилия к тому, чтобы лица, посещающие колонию, не причиняли беспокойства пингвинам, сидящим на яйцах.

В продолжение всей экспедиции Вам надлежит находиться под началом и контролем руководителя базы Скотт. Предписывается установить определенные часы для выхода на связь с базой, каковые необходимо соблюдать неукоснительно. Вам следует также постоянно помнить о необходимости избегать риска и ограничить свои передвижения районом колонии и прилегающими к нему участками.

По возможности тотчас же после возвращения в Новую Зеландию (Вам не следует покидать колонию ранее, чем последняя птица отбудет на зиму в море) Вам надлежит представить отчет руководителю Антарктического отдела о проделанной работе и ее результатах».

В конце инструкции от руки было приписано: «Тебе придется нелегко, Дик. Желаю удачи». И подпись руководителя.

Форбэш вытер нос и пожалел, что нельзя открыть банку пива. Надо ждать, пока солнце не перевалит через рей сигнальной мачты. Он почувствовал себя усталым и озябшим. Руки и ноги не слушались. Пингвинов все еще нет. Никак не принятость за дело. А впереди еще целых пять месяцев, долгих как вечность. Он поднялся и тут же ощутил тепло: нагретый воздух постепенно заполнял помещение — сверху вниз.

«Нужно выйти,— подумал он.— Нужно выйти. Посмотреть, не прибывают ли пингвины». Уже пора, не сегодня так завтра. Он будет не одинок. Вокруг будут шум, запахи, возня живых существ. Мыс оживет, закопошится, суша и море станут обитаемы. Он принялся за утомительную, бесконечную работу: надо было одеваться. Надевать штаны, анорак, шерстяную шапку, меховые рукавицы, воздухонепроницаемые рукавицы; рассовывать по карманам шоколад, сигареты, спички, складной нож, бечевку, очки-консервы. В этом облачении он всегда чувствовал себя неуклюжим и лишенным возможности зрительно и на ощупь воспринимать окружающий мир. Он перекинул через плечо бинокль, взял ледоруб и вышел из хижины.

Он быстро побежал по прочным глубоким снежным наносам, лежавшим между хижинкой и озером Пони, стараясь не поскользнуться на обледенелом насте. Потом побежал по озеру, замедляя шаги там, где лед был чист от снега и облескивал влагой — действие нежаркого солнца. Существует особый способ пересекать покрытые голубым льдом озера или же ледник, всегда предательски скользкий в полдень. Надо передвигаться так же, как при игре в гольф или крикет — не сгибая ног, чуть сеутулясь и опустив плечи. А еще лучше быстро скользить на плоских подошвах маклаков наподобие мухи, взбирающейся по оконному стеклу.

Перейдя озеро, Форбэш миновал неглубокую седловину, выходящую к морю между холмом Флагшток и северными склонами пингвиной колонии. Под ногами осыпались зачаканные пометом камешки — остатки птичьих гнезд. Повернув прочь от берега, к югу, он начал взбираться по склонам Мыса и оказался на стофудовой высоте среди обветренных, потрескавшихся от мороза вулканических глыб. Отсюда можно было глядеть на север и юг, рассматривать пролив, горы на западе и громаду вулкана на востоке. Защищенный от ветра, на солнцепеке он вдруг вообразил, что слышит треск цикад, и удивился, когда слух его отказался продолжать этот обман. Но затем он понял, что стрекот этот

ему не мерещится: вдали, надо льдами, к аэродрому Уильямс-Филд спускался транспортный самолет «Геркулес». Видно, прилетел с теплого севера, из Новой Зеландии, до которой 2200 миль. Но пингинов не было.

Форбэш достал из футляра бинокль и направил его на север, в сторону припая — он все еще надеялся увидеть подпрыгивающие черные фигурки,двигающиеся вперевалку к своей летней резиденции, навстречу недолгим неделям экстазов, бесхитростных и неотложных любовных дел, навстречу нелегким родительским обязанностям. Лед казался безжизненным. Он был бледно-зеленым, далеким и бесплодно белесым от обилия воздуха и воды. Айсберг, севший на мель севернее Птичьего мыса, походил на цитадель, сторожевой пост на огромном оборонительном валу, на часового, не допускающего сюда ни единой живой души.

Форбэш присел на корточки; положив бинокль на колени, натянул на голову капюшон, защищаясь от холодного дыхания горы.

— Интересно, далеко ли отсюда кромка льда? Где начинается открытое море? — произнес он про себя, хотя и шевеля губами, которые стягивала стужа. Издалека ли приходится идти пингинам? Далеко ли углубляются они на север с приходом зимы? Не до кромки ли морских льдов выше полярного круга? Действительно ли они проводят в море всю зиму, а весной проплывают сотни миль? Каково им живется зимой — в долгие темные месяцы, пока не набухнут их половые железы и они, подчиняясь ритму движущегося к югу солнца, сами устремятся, слепо и инстинктивно, на юг, к суше?

Существует ли какая-то разница между влиянием Солнца на жизненный ритм пингинов и притяжением Луны, которая вызывает приливо-отливные явления в океанах? Со всех сторон к Антарктическому континенту сейчас устремляются миллионы животных, словно увлекаемые некоей гигантской приливной волной, с тем, чтобы род их продолжался из года в год. Причем каждое отдельное животное представляет ничего не значащую величину, незначительную частицу огромного потока. Потрясенный, Форбэш вдруг почувствовал, словно он и сам подхвачен приливной волной, движущейся на юг, на север, рождающейся, растущей и зачем-то умирающей. Но может ли жизнь умереть, если она тотчас становится частицей иной жизни? Так, жизнь, заключенная в яичном желтке, выпитом чайкой-поморником, становится частью поморника, а помет поморника становится пищей для

лишайников, цепляющихся за камни мыса, или же для водорослей, цветущих в озере Пони, когда оно летом оттаивает.

Даже замерзание моря способствует регулированию жизненной волны, так как при этом выделяется соль, играющая важную роль в бесконечной циркуляции вод Южного океана, благодаря чему море постоянно и обильно пополняется питательными химическими веществами; а уже благодаря этому формируется растительный планктон. Под воздействием солнечных лучей бесконечного лета он воспроизводится в едва ли исчерпаемых количествах, подобно травам на степных просторах Северной Америки, Европы и Азии. А отсюда в геометрической пропорции множится рачок. Рачком кормится рыба, а пингины и летающая птица кормятся рыбой; тюлени же кормятся рыбой, рачком и пингинами; а гигантские киты пасутся на бескрайних полярных пастбищах, снуя среди бурных волн, гонимых западными ветрами. Они разевают свои огромные рты, до отвала наедаясь рачком, они рожают и вскармливают своих чудовищных детенышей чудовищными сосцами, которые наполняет своим молоком Мать морей.

Там, подо льдом пролива Мак-Мёрдо, снова начинался цикл. Скоро затрещит, застонет ледяной покров пролива. Внутренний слой льда ослабнет, разрыхлится от потеплевшей весенней воды. Наконец море вскрыется, и ледяные поля начнут дрейфовать на север. Слышны будут удары волн, разбивающихся о камни побережья. Форбэшу никак не вспомнить этот звук. Ему только мерещатся золотой пляж, горячий песок, тихоокеанские валы, рассыпающиеся у ног.

Далеко ли, все-таки, кромка льдов, где начинается открытое море? В десяти, пятнадцати милях; наверняка не далее. Каждый день от северной ее границы будут откалываться ледяные поля и уплывать на север, в море Росса, к побережью Земли Королевы Виктории, и на запад, вокруг мыса Адер, что в четырехстах милях отсюда. Но возле утесов, почти у самых ног Форбэша, лед казался крепким и прочным. Пока пингинов нет, все кругом пусто, безжизненно.

Форбэш поднялся на ноги и стал медленно спускаться к берегу, обходя камни. Отшлифованные водой галька и камни были покрыты тонким слоем снега, а те, что ближе к воде, обледенели. Он ступил на лед и шел по нему, пока не добрался до трещины, тянувшейся вдоль берега, благодаря которой лед припая мог опуститься и подниматься вместе с приливом, не особенно ощутительным в здешних водах. Шириной она была с фут. Он заглянул в иссиня-фиолетовую воду, стиснутую крутыми стенами, густо

посыпанными белыми кристаллами льда. Ковырнул ледорубом край трещины и, убедившись в прочности льда, перешагнул через нее. Пройдя ярдов тридцать, он остановился возле севшего на мель гроулера<sup>1</sup> — глыбы льда с открытыми краями. Лед под ногами Форбэша был молочного цвета с бархатистым отливом.

Хижину отсюда было не видно, виднелись лишь склоны пингвиньей колонии, мыс и дымящаяся вершина Эребуса. Здесь, вдали от прибрежных скал, отражавших солнечное тепло, воздух был значительно холоднее. Форбэш заметил, что воздух насыщен крохотными кристалликами льда, которые опускались наземь и легкой вуалью покрывали его зеленый анорак, скапливаясь в швах и складках. Он не ощущал их прикосновения к лицу и не мог разглядеть их, но постепенно его одежда покрывалась слоем льдинок. Он повернулся к солнцу, которое опускалось к западу от Птичьей горы и смутно различимого отсюда похожего на гигантскую ракушку острова Бофорта, находящегося в сорока милях севернее. Кристаллики льда — крохотные танцующие призмочки, — словно круглая радуга, окружили солнце. Они становились все многочисленнее, и вот по окружности радуги возникло четыре ложных солнца. Форбэшу казалось, что у него на глазах возникает, гибнет и вновь рождается вселенная, подчиняясь тонким законам отражения света; казалось, что он наблюдает безмятежный и священный акт физического созидания, и эта картина потрясла все его существо. Он смотрел на это зрелище так долго, что солнечные лучи, словно острые ножи, стали резать ему глаза. Потом повернулся, ослепленный, и побрел к берегу, опустошенный и одинокий.

Он шел до тех пор, пока не очутился в центре колонии, защищенной от пронзительного ледяного света, часто моргая и вытирая голый рукой слезящиеся глаза. Наконец зрение снова вернулось к нему. Желтая от помета полоса колонии тянулась на сотню ярдов к югу и на полсотни к северу. Ему пришлось в голову, что определять границы каждой отдельной колонии следует, основываясь на форме гнездовых — небольших холмиков, представлявших собой десятилетние, может, даже вековые отложения гуано, с неглубоким кратером в середине. Вокруг этих холмиков был разбросан материал для постройки гнезд. Самые обыкновенные камни. Небольшие угловатые камешки, сдугтые зимними штормами и рассыпанные буйными толпами прошлогодних

<sup>1</sup> Гроулер — небольшой айсберг, который перевернулся в воде.  
(Прим. перев.)

птенцов. Холодные, твердые камни, но в них-то и заключен секрет жизни пингвинов, подумал Форбэш.

Возле его ног лежал изуродованный, высохший трупик птенца-пингвина — сморщенный, пожелтевший, с разинутым клювом и пустыми глазницами, которые, казалось, что-то выражали. Крылья и коротенькие ноги были вытянуты. На них еще сохранились клочки чешуйчатой кожи и перья. Форбэш огляделся кругом и увидел еще трупы птиц, кости, обломки костей, крылья, лапы, головы, позвонки. Они были разбросаны на поверхности или наполовину занесены пометом и засохшей грязью. И останки животных, и гуано ссохлись от постоянной сухости антарктического воздуха. Форбэш тронул ногой скелет и вдруг почувствовал какое-то безразличие и голод. Взглянув в последний раз на море, он медленно побрел в сторону хижины.

Оказавшись на середине озера, он принялся разглядывать прозрачный голубой лед, удивляясь мастерству, с которым были выполнены эти папоротники, цветы, розетки и букеты, сохранившие в толще льда свою рельефность и необычность формы. Он несколько раз подпрыгнул, ударяя ногами о лед, хотя и знал, что простая, пчеловеческая красота узоров не исчезнет от этого. Он остановился и снова начал разглядывать лед. Этот странный мир заморозил и, казалось, сковал его своими неизменными, застывшими закономерностями, вынул из него душу и вложил взамен стройную систему химических элементов, рожденных солнцем.

К его возвращению в хижине потеплело. Наслаждение, которое он испытал, ощутив лицом нагретый воздух, было столь велико, что он тотчас отключился от внешнего мира. Сходяв за снегом, он сварил себе кофе, толстыми ломтями нарезал хлеб и корнбиф. В восемь часов можно будет включить радию и связаться с базой.

А до той поры он полежит и почитает. Каждый час будет вставать и смотреть, не прибыли ли в колонию птицы. В половине восьмого склоны глетчеров по ту сторону пролива были залиты оранжевым пламенем повисшего над горизонтом солнца. Морозный туман походил на дым. Колония была пустынна.

В коридоре Форбэш распахнул радию, присоединил к ней антенну, оставив наружную дверь открытой. Минуты едва плелись. Он закурил сигарету, сел на порог. Ветра здесь не ощущалось, да и холодно было не очень. Вот Алекс Фишер, радист, входит в радиорубку, включает передатчик, настраивается на нужную частоту. А он будет его слушать. Две дюжины человек, со-

бравшихся в кают-компании, захотят узнать, как он устроился. Да нет, его, верно, все давно позабыли. Лишь спустя несколько недель, а то и месяцев, может, кто-то и скажет: «Как там, интересно, поживает на мысе Ройдс Дик?» А спустя еще несколько недель, возможно, о нем вспомнят опять и тогда спросят у Алекса: «А что, Дик все еще на мысе Ройдс?»

Форбэш включил рацию, настроился на частоту передатчика, надел толстые подушки наушников и стал ждать, покуда не нагреются лампы.

— Вызываю базу Скотт. Вызываю базу Скотт. ZL YR с мыса Ройдс вызывает ZL Q с базы Скотт. Как меня слышите? Прием.

Форбэш говорил очень отчетливо, только, как ему показалось, несколько отрывисто и взволнованно. Ему снова почудилось, что его кто-то подслушивает. Он начал было повторять вызов, но тут в приемнике загрохотал голос Алекса:

Вызываю ZL YR. Вызываю ZL YR. Говорит ZL Q с базы Скотт. Слышу тебя удовлетворительно, Дик. Слышу удовлетворительно. Как ты меня слышишь? Прием.

— Хорошо и отчетливо, Алекс. Хорошо и отчетливо. Докладывать мне не о чем. День был ясный. Пингвинов нет. Я еще не знаю, далеко ли до кромки льдов. Есть ли у тебя сведения о сроках вскрытия? Есть ли сведения о ледовой обстановке? Прием.

Форбэш обнаружил, что слегка дрожит, и несколько опешил от того, что задал незначительный вопрос лишь затем, чтобы что-то сказать.

— Рад, что ты устроился, Дик. Рад, что ты устроился. Точных сведений о ледовой обстановке у меня нет. Точных сведений нет. Но после обеда из Крайстчерча прибыл самолет. По словам летчиков, лед держится много севернее острова Бофорта. Много севернее Бофорта. Это все, что я могу тебе сказать, Дик. Больше у меня для тебя ничего нет. Прием.

Остров Бофорта. Много севернее Бофорта. Это отсюда миль шестьдесят, даже восемьдесят, прикинул Форбэш. И внезапно смутился. Он не знал, что сказать, и тут ощутил в желудке теплую волну, вспомнив про радиограмму.

— Вызываю ZL Q. Слушай, Алекс. Ты меня удивил сообщением насчет льда. Выходит, бедняги вернутся на день-два позже. Алекс, ты не отправишь мою радиограмму? Мисс Барбаре Рейли. Крайстчерч, Гросвенор-стрит, сто пятнадцать.

Он поморгал, пока скрипящий голос повторял адрес, звучащий, как адрес совершенно незнакомого лица из какой-то отдаленной страны.

— Вот текст. Благополучно добрался до Ройдса, но никакого общества. Хотелось бы, чтобы ты была здесь. Форбэш. Конец текста. Она знает, что я не сентиментален. — Он почувствовал себя в чем-то виноватым и буйно сентиментальным. И тут заметил, что пальцы, вцепившиеся в микрофон, липки от пота.

На него, словно поток холодной воды, опустилась тишина. Ему казалось, что он, побывав в ярком, нестром и шумном мире, вновь очутился в спокойной луже.

Он сварил в герметическом судке суп из мясного порошка, не удостоив вниманием свежемороженное мясо, лежавшее в кладовке, и даже позабыл о пиве. Потом забрался в спальный мешок и принялся читать. Он уже не видел в хижине некую историческую достопримечательность, теперь она стала для него надежным, полным всяких припасов жилищем. В полночь, когда за окном нависли серые сумерки, он выключил обогреватели, показал язык желтому кролику и уснул.

**В** ПЯТНИЦУ 21 ОКТЯБРЯ, В 3 ЧАСА ДНЯ, ФОРБЭШ у себя над головой увидел чайку-поморника. Легкими пушистыми хлопьями, напоминающими цветы мимозы, падал снег. Было безветренно и вроде даже тепло. Окруженный безмолвием, он стоял посреди озера Пони. Скалы Мыса и хижина едва проглядывали сквозь туман, и ему почудилось, что он находится в последнем уголке вселенной, до которого не успело еще добраться белое опустошение. Ему казалось, что это застывшее озеро и земля под ним существуют лишь благодаря усилию его воли, а в действительности это затвердевшее облако, на котором он бесконечно парит в унылых небесах. Снег был густой, он облепил его плечи и руки, ноги, меховую оторочку капюшона. Он падал на голубой лед маленькими комочками, где каждый кристалл устремлялся к другому благодаря притяжению собравшихся в стройное целое молекул. На льду вырастали цветы из инея. Их воздушные лепестки и букеты колыхались при малейшем дуновении ветерка. Форбэшу пришло в голову, что если простоять вот так достаточно долго, то можно увидеть, как из хрупких шестиконечных кристалликов, возникающих из-за необычной для здешних мест влажности воздуха, вырастают лепестки.

Что-то заставило его оторваться от этого зрелища и взглянуть в сторону смутно видневшегося Мыса. На мгновение он увидел

промелькнувшую над скалами тень поморника и не поверил своим глазам. Минуту спустя он снова увидел птицу. Она летела через море со стороны колонии в его сторону, потом повернула вдоль берега на север, затем снова на юг, сделав круг в низком парящем полете. Форбэш стоял неподвижно, затаив дыхание, и слышал, как стучит сердце. Поморник стал было опускаться на камень, распушив опущенный вниз хвост и вытянув растопыренные лапы; он, тормозя, часто бил крыльями, потом плавно перешел на более редкий мах, убрал ноги и в вираже повернул в сторону неподвижно стоявшего Форбэша.

Поморник летел над озером сквозь падающий снег — низко, прямо, точно стрела, быстрая и опасная. Форбэш уже видел его черные зрачки над тяжелым крючковатым клювом, серые и коричневые пятна на груди и твердые, точно высеченные резцом, линии отороченных белым крыльев. Небрежно, словно нехотя, птица опустила кончик крыла, развернулась и, словно подхваченная потоком воздуха, пронеслась над головой человека и умчалась к югу.

— Эй! — крикнул Форбэш, но звук его голоса был едва слышен. Сорвавшись с губ, вопль этот отдался эхом лишь в глотке и барабанных перепонках.

Паря, точно ястреб, поморник скрылся в тумане над мысом Барна. Форбэш спустился к берегу Доступности и стал разглядывать свежевыпавший снег. Пингвиных следов не было.

После обмена несколькими ничего не значащими фразами с базой Скотт Форбэш, притомившийся и несколько расстроенный, состряпал себе вечером праздничный обед: почки, бекон, биштекс. Во время сеанса связи ему казалось, что сквозь треск приемника в радиорубке слышны смех, говор и хлюпанье открываемых банок с пивом. К полуночи он разделался с четвертым детективом. Когда он ложился спать, по-прежнему шел снег, скапливаясь в углах оконных рам.

В субботу к десяти часам утра скорость ветра достигла двадцати миль в час. В воздухе стояли тучи поднятого им снега. Ветер зловеще бормотал за дверью, и Форбэш полдня провалился в постели. К тому времени ветром сдуло почти весь снег, выпавший накануне. О минувшей метели напоминали лишь сугробы на склонах у подножья Эребуса да груды льда за мысом Эванс. Снега навалило вровень с верхней ступенькой крыльца, и Форбэш провалился выше колен, когда вышел из своего насиженного угла проветриться на свежем воздухе. Ему показалось, что он очутился в ванне, наполненной холодными мыльными пузырями.

Догадавшись не есть весь день, когда он вынужден отлеживаться, Форбэш приготовил себе жаркое. В поисках приправы он вскрыл один из пакетов с аварийным пайком, оставленных в хижине кем-то из его предшественников. Внутри он обнаружил инструкцию, в которой подробнейшим образом объяснялось, как следует использовать паек; в ней рекомендовался дневной рацион в различных вариантах на срок от недели до тридцати дней. В конце инструкции крупными буквами было напечатано: «НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ ПАНИКЕ, ПОМНИТЕ: ПОМОЩЬ БЛИЗКО». Форбэш обнаружил в пакете превосходный перец и дрянной лимонный порошок.

Из ящика, намеренно поставленного над обогревателями с тем, чтобы его содержимое не замерзло, он достал банку пива. Хижина была наполнена теплом, домашней суетой и аппетитными запахами. Он опустошил вторую банку пива и принялся чистить ногти в ожидании, пока не поспеет жаркое и не разварится пюре из картофельного порошка.

Завив жаркое еще одной банкой пива, Форбэш принялся за консервированную клубнику. Положив три пустых банки из-под пива на пол, он принялся топтать их, пока не расплющил. Обязанности хранителя памятника тяжким грузом легли на него. Нельзя устраивать беспорядок. Надо быть опрятным. Зарывать мусор. Не устраивать пожаров. Не проливать на пол керосин. Не брызгать пивом на священные реликвии. Черт возьми, но почему мне не дали форменную ливрею?

Помрачнев, Форбэш вышел на двор, чтобы набрать в ящик снега. Его ноги проваливались в свежие сугробы, сверкающие в оранжевом зареве заката. Он даже не стал смотреть, пришли ли пингвины. Нынче суббота. Все устраивают торжества. Кроме меня. У Барбары будет вечеринка. У Старшота. У Алекса Фишера. На базе Скотт, подвыпив, будут петь и скакать. На стол поставить бутылку с ромом. Радио включают на всю катушку. Джон Кинг будет сидеть в своем углу и, осовело глядя перед собой, настраивать гитару. А Хэнк, медик с аэродрома, станет настраивать свой укулеле<sup>1</sup> цвета красного дерева и сочинять какую-нибудь похабную песню. Слышны будут переговоры по радиотелефону с родными, в динамике будут раздаваться слабые, то исчезающие, то появляющиеся вновь голоса любимых, находящихся за две тысячи двести миль и старающихся сдерживать свои чувства, не доверяя их радио, падкому на всякие фокусы.

<sup>1</sup> Гавайский музыкальный инструмент. (Прим. перев.)

В Крайстчерче над Эйвоном скоро нависнут молодые побеги ивы, а плакучие вязы, сосны и каштаны в туманном мраке возле реки наполнят ароматом бархатный весенний воздух. Утки будут спокойны и преисполнены весны, они будут деловито предаваться любовным утехам, а молодая форель будет всплескивать в водах, лоя на лету зазевавшихся мошек. От холодного ветра у Форбэша перехватило дыхание. Ледяные пальцы, забравшись под рубаху, прошлись вдоль хребта. Остервенело работая лопатой, он наполнил ящик снегом и побежал, неся его перед собой. Кристаллики снега попадали за шиворот и ледяным обручем сжимали желудок.

Он вымыл посуду, подмел пол, потом достал кларнет, четыре банки пива, бювар и ручку.

«Барбара, я не знаю, что я делаю здесь; не знаю, что ты делаешь там. Уж наверняка не вспоминаешь обо мне, не скучаешь. Не опубликуешь ли в крайстчерчском «Прессе» следующее объявление: «Для работы на изолированном морском курорте требуется толковая женщина на должность смотрителя исторического памятника. Спецодежда казенная. В обязанности смотрителя входит также присмотр за одним молодым ученым-биологом. Предложения и фотографии направлять Р. Дж. Форбэшу на мыс Ройдс, Южная Ривьера».

Пингвины запаздывают. Здесь нет абсолютно никого. Я один в целом мире. Вернее, я сам представляю целый мир, поскольку остальных на прошлой неделе сдуло метелью. При настоящих обстоятельствах совершенно бессмысленно писать тебе, но я живу надеждой, что благодаря какому-то чудесному стечению обстоятельств мое письмо застанет тебя живой и в достаточной мере любящей меня. Антарктика принижает меня. Я каждый день отдаю ей частицу самого себя, но она ничего не возвращает назад. На днях солнце попыталось выкрасть мои глаза. Затем лед вознамерился расчленить мою добрую честную натуру в угоду простым и практичным законам, на которых зиждется его немудреное существование. Естественно, я воспротивился.

Но послушай, Барбара. В голову мне приходит ужасная мысль (как ты догадываешься, я понемножку пьянею). А что, если лед совершенно прав? Ведь это лишь предположение, что органическая ориентация материи более живая ее форма, чем неорганическая; лишь из тщеславия человек считает, будто душа не подлжит превращениям, подобно куску камня, гальке в гнезде пингвина. Начерти мне, так сказал лед, линию, отделяющую бытие от небытия. Потом откуда-то (как раз шел снег) на меня спикиро-

вал поморник. Но он был такой озабоченный. Просто он летал по своим делам. И его полет был столь же важным, как моя вылазка. Более того, в своем искусстве он превзошел меня. Я его окликнул, но он не отозвался.

Барбара, меня сводит с ума желание вернуться к тебе, пока лед не превратит меня в льдинку (ик!).

Барбара. Ты была такой мягкой и доброй, такой нежной и ласковой в тот вечер перед моим отъездом... Боюсь, что, когда вернусь назад, я огрубею настолько, что причиню тебе боль.

Возможно, я снова смягчусь, когда ко мне вернутся птицы, море, шум волн на галечном пляже. Этот лед заморозил мне сердце. Писать «я люблю тебя» так же бесполезно, как пытаться растопить лед, дыша на него.

Господи боже! Тут столько дел, а все из рук валится. Я уже перестал верить, что пингвины вернутся. Это невероятные существа, черт их подери. Проходит день за днем, а их все нет. Нет. Ни единого признака. Ни слуху ни духу».

Форбэш перестал писать и опустошил четвертую банку пива. Подперши подбородок, он стал смотреть в окно на длинные черные тени и золотые скалы над ними. Ночь, похоже, теплая. Спокойная и мирная. В такую ночь нужно бродить, ощущая на себе солнечные лучи, чувствовать себя частицей солнца. Он быстро вскочил и чуть не бегом вышел из хижины. Ветер стих. На золотом фоне четко и резко выделились черные очертания Мыса. Над Эребусом нависла шапка дыма. Казалось, некая башня выросла над Форбэшем и маленьким серым домиком. Ему померещилось, что это длань господня, на которой видны пульсирующие дымные вены и мощные мышцы, напрягшиеся от ветра. Стужа настолько ошеломила Форбэша, что он начал пятиться к двери, вытянув назад руки с одеревенелыми пальцами. Прикоснувшись к загрубелому холодному дереву, он медленно, не показывая виду, что потерпел поражение, поднялся вверх по ступенькам и затворил за собой дверь. Не перечитывая письма, он поставил подпись, заклеил конверт, надписал его. Потом сел, схватившись за голову, и зазмурился.

Наконец он согрелся. Открыв глаза, он заморгал от хлынувшего на него света. Все в хижине оставалось прежним.

— Черт подери, это смахивало на какую-то мелодраму,— произнес он вслух. Он встряхнул головой так, что глаза заломило.

Форбэш решил помыться. Опорожнив еще две банки пива, он начал рассматривать объемистый железный котелок, стоявший на печке Шеклтона. Он заржавел, но еще мог пригодиться.

— Меня, наверно, обвинят за это в осквернении могил, кощунстве, некромании, nepoтизме и эксгибиционизме, — сказал он и глупо засмеялся. Потом накачал примус, так что тот едва не взорвался, наполнил котелок снегом и поставил его на огонь. На глаза ему попался старомодный эмалированный кувшин — синий с белым. Он поставил его на стол рядом с мылом, зубной щеткой, зубной пастой и полотенцем.

Две банки пива спустя Форбэш, скрестив ноги, сидел на столе и исполнял на кларнете «Болеро» Равеля, поглядывая на пузатый кувшин. Котелок был наполовину заполнен тепловатой ржавой водой, поэтому он добавил туда еще снега и снова потянулся за пивом. Ящик с пивом упал с полки на пол, и когда Форбэш откупорил банку, оттуда весело брызнула жидкость. Она залила ему глаза, уши, лицо, по бороде потекла на колени. С торжественной и дурашливой миной Форбэш прижал пальцем отверстие и, встряхнув банку, направил струю пива на кролика. Промокший до нитки, тот по-прежнему усмеялся.

Исполняя на кларнете церковный псалом, Форбэш едва не заплакал, но тут заметил, что вода нагрелась. Протрезвев, он встал и разделся. Свобода. Он подошел к одному из обогревателей и почувствовал, как теплый воздух струится по ногам, ягодицам, спине, щекает затылок. Он прижал руки к груди, ощущая под пальцами нечистую теплую кожу, потом прижал подбородок к левому плечу, задумчиво поскреб его щетиной, облизнул соленый пот. Вкус его был приятен — добрый животный вкус. И Форбэш почувствовал, что снова стал самим собой.

Чуть дрожая от озноба, он тщательно вымыл все тело. Потом с какой-то вызывающей отчаянностью, наполнив кувшин водой, он вышел на двор и, стоя в снегу, принялся лить воду на голову. На мгновение он почувствовал во всем теле приятную расслабленность, ощутил теплоту и шелковистость кожи. Внезапно кожу стянуло служей. Он быстро вбежал в дом и стал одеваться.

В воскресенье, 23 октября, Форбэш проснулся поздно. После обеда он двинулся в восточном направлении. По ребристым вулканическим грядкам он пошел к бухте Черный ход, а от ее побережья — к Голубому озеру. На моренном островке посреди озера он обнаружил оранжевые пятна лишайника, цепляющегося за расселины скал наподобие гроздьев мелких водорослей на морском берегу. В четыре часа, карабкаясь по галечному склону обращенного к морю берега острова, высоко над головой он увидел трех снежных буревестников, похожих на легкие листочки, заброшенные в синь поднебесья, легко и весело парящие

в стремительном полете. Ему вспомнились белые птицы, которые, по поверью маори, прилетают, чтобы проводить души усопших в Те-Реинга-о-оте-Вайруа, Обиталище Душ.

В понедельник после полудня он снова наблюдал за морем, расположившись в излюбленном укромном уголке среди скал Мыса. Ему показалось, что в нескольких милях от него видна темная гряда тюленя, спящего возле трещины в ледяном поле.

Теперь в окружающем его безмолвии он начал находить некоторое успокоение и перестал разговаривать сам с собой. Взор его просветлел, он чувствовал себя непринужденно, свободно и ждал пингвинов спокойно, без всякого нетерпения.

В сущности, он почти не верил, что они вообще появятся здесь, и решил жить простой, размеренной жизнью — верить в Эрбус, в солнце, которое больше не опускалось в полночь за кряжи западных гор и освещало льды и черные склоны холмов золотистым огнем.

Он начал читать «Вешние воды» Тургенева. Тургеневское понимание человеческой души наполнило его грустью. Он затосковал по любви, но душой оставался спокоен. Вдали от реального мира людских страстей он мог в уюте, безопасно наслаждаться собственным идеализмом. Он проникся уверенностью в том, что люди чисты и добры и что, когда он вернется к ним, жизнь будет богатой и счастливой, исполненной ненавязчивого, безболезненного стремления к истине, знанию, доброй и нужной науке. Подобно Санину до его разочарования в жизни, Форбэшу почудилось, «точно завеса, тонкая легкая завеса висит, слабо колыхаясь, перед его умственным взором, — и за той завесой он чувствует... чувствует присутствие молодого, божественного лика с ласковой улыбкой на устах и строго, притворно строго опущенными ресницами. И этот лик — не лицо Джеммы, это лицо самого счастья!»

Во вторник, 25 октября, теплым вечером, после неудачного сеанса связи с базой, Форбэш вскарабкался на камни Мыса. Он обнаружил там уголок, напоминающий трон, на котором восседал языческий бог, наблюдая за тем, как верующие в него отправляют свои религиозные обряды. Обточенный ветром камень удобно упирался в спину Форбэшу, присевшему на корточки; валуны, лежавшие с обеих сторон, защищали от ветра. Почва под ногами была усыпана мелкими круглыми камешками, ноздреватыми, точно пемза, и напоминающими окаменелые скелеты крохотных земноводных. Со своего золоченого трона он видел море, простиравшееся к северу, но дальний берег пролива находился вне поля

его зрения. Там курился Эребус, чье присутствие он ощущал и теперь, хотя и не видел его. Взгляд его, пронизывающий насквозь изъеденные кавернами айсберги, был прикован к морю, к узкой полоске льдов на севере. Вечер был теплый и безветренный, поэтому Форбэш захватил с собой на Мыс кларнет и теперь играл на нем. Он тщательно и точно выводил мелодию, перебирая чуть окоченевшими пальцами клавиши и непослушными губами сжимая мундштук. Звуки оставались в пределах его трона; они как бы существовали сами по себе и, извлекаемые из инструмента, словно мыльные пузыри, плясали над головой играющего. Сердце его захлестнула радость: он обнаружил, что ветром не уносит ни единый звук.

В десять часов он исполнил партию флейты из анданте к пятому Бранденбургскому концерту. Серьезная, изящная мелодия вторила ритму медленно катящегося к горизонту солнца. Тени ото льдов, казалось, устремлялись к человеку: длинная прямоугольная тень от айсберга, застрявшего возле Птичьего мыса; злобещая, как острие копья, тень от конического тороса напротив Берега Доступности. Ему вдруг захотелось увидеть дерево, хотя бы кусок его, засохший ствол с ломкими серебристыми сучьями, воздетыми к небу на морском берегу, поросшем солоноватой жесткой травой.

Чтобы согреться, он надел рукавицы и спрятал руки под мышки. Потом сыграл адажио из бетховенского квартета «до-минор» под названием «Священная песня благодарения».

Исполняя эту восхитительную пьесу, он наблюдал за пингином, который находился так далеко и был так мал, что походил на пылинку. Этот первый пингвин был словно бы зародышем жизни, возникающей в желтке только что снесенного яйца. Движения его были столь же незаметными и одновременно непреодолимыми. Его будто несла некая сила, и он, пританцовывая, катясь, вздрагивая, перемещался вдоль горизонта льдов, наделенный волей к жизни, казалось, всего мира. Форбэшу подумалось, что пингина влекут музыка и пристальный взгляд человека.

Умственным взором он видел, как пингвин то спотыкается, то скользит по льду. Его чешуйчатые, с длинными, как у животных, когтями лапы издают почти неслышимый царапающий звук. Так шумят горошины в шелестящих высохших стручках, которые колеблются на ветру погожим осенним днем.

Упитанный ясноглазый пингвин, еще ослепительно чистый после долгих морских купаний, торопливо двигался к югу. Бело-снежные перья на его груди отражали золотистый блеск солнца.

Он шел на коротеньких ножках, растопырив для равновесия ласты и покачивая головой; внимательно следил за собственным курсом и то оглядывался через плечо, то поглядывал ввысь, готовый к встрече недруга или друга. Перед полыней он останавливался, выпрямлялся, затем, подавшись вперед и откинув назад ласты, вглядывался вниз, словно бы меряя глубину и величину препятствия своим толстым коротким клювом. Потом прыгал с вытянутыми ногами, падал на грудь и, отталкиваясь лапами и ластами, плыл, пока не достигал прочного льда или мягкой снежной дюны. Тогда он выпрямлял хвост, вытягивал шею и всматривался вперед, похожий на округлую черно-белую гондолу.

Форбэш перестал играть и положил свой кларнет. Теперь ему казалось, что Мыс уже не молчит, что сама ночь, освещенная солнцем, исторгает звуки и движется, что скалы живут, а лед перестал быть врагом, превратясь в добрую частицу жизни. Он поднялся, растер озявшие ягодицы, с шумом похлопал по воздухо-непроницаемым штанам. Будет за полночь, когда пингвин доберется до побережья. Форбэш достал из кармана анорака шоколадный кекс и съел его, почти тотчас ощутив, как из желудка сладкими волнами по всему телу начало излучаться тепло.

Теперь он мог разглядеть очертания пинговина: он видел его расставленные в стороны ласты, видел его утиную походку. Пингвин двигался несколько неуверенно, словно не знал, близко ли конец пути или путешествие это будет длиться всю жизнь. В полумиле от берега птица остановилась, словно собираясь улечься спать: она втянула голову в плечи, прижала к груди ласты.

Форбэша это рассердило на мгновение, потом развеселило.

«Ах ты, глупая птица. Ты столько времени шла, чтобы увидеть меня, а теперь останавливаешься и устраиваешься на ночлег. Шагай, шагай. Ты и так опаздываешь, дурачок, а у тебя столько работы».

В бинокль пингвин казался знакомым и смешным и в то же время не лишенным какого-то достоинства, когда ступал на пятки, чтобы не касаться холодного льда пальцами. Любопытно, знает ли он, что пришел первым и торопиться, в сущности, незачем. Возможно, он все-таки чувствует, что в колонии он будет столь же одинок, как и в долгом своем путешествии по льду.

«Интересно, издалека ли ты пришел? Ледовый путь твой, верно, был ужасно тяжел. Тебе наверняка придется долго ждать своего следующего обеда, мой маленький пингвин. Шагай же, шагай. Перестань спать». Его внезапно охватило возбуждение, и он нетерпеливо топнул ногой.

«Шагай!»

Он более не чувствовал одиночества. Казалось, он вышел из длинного, сумрачного туннеля и вдруг очутился на свету. Минувшие события проснулись в его памяти, но Форбэш казалось, будто все это происходило с кем-то другим, будто сам он спал и ему снился дурной сон. Жизнь снова брала свое.

«Шагай, давай. Шагай».

Он услышал шум своих шагов по гальке — новый резкий звук. Он перестал ощущать себя неподвижной, существующей вне времени частицей мерзлой почвы, мерзлого прошлого, его кожа и плоть словно бы затвердели, приобрели форму. Он вздрогнул, поежился, расправил спинные мышцы и встал на одну ногу.

— Иди же, пингвин, иди, глузыш! — На этот раз он крикнул, приставив руки рупором ко рту и откинув голову назад. Пингвин даже не шевельнулся.

Спустя полчаса, уже за полночь, когда Форбэш опять сидел на своем камне, поджав к подбородку колени, едва не засыная, теперь уже иззябший и закоченевший, пингвин приподнял голову, метнул взгляд вправо, влево; затем вытянул шею, взъерошил густые перья на спине, став похожим на встревоженного ежа. Он похлопал ластами и зашагал — сначала медленно, торжественно, потом быстро, будто пухлая старая дама, завихляя бедрами, подергивая головой и карикатурно поглядывая из стороны в сторону.

— Ну, то-то же, — сказал Форбэш. — А теперь не останавливайся. Бога ради, не останавливайся.

Он поднялся и, засунув под мышку кларнет, медленно пошел прочь. Пингвин все приближался. Он прибавил шагу, словно вдруг понял, куда и зачем ему надо идти. Перед торосом остановился, как бы взвешивая, с какой стороны лучше обойти препятствие. Он выбрал путь вдоль берега, но, увидев там трещину, остановился. Пингвин начал ежиться, топорщить перья, топчась на одном месте, и, казалось, уже собрался было снова вздремнуть, как вдруг перепрыгнул одним махом через трещину и побежал, пока не добрался до застрявшего у берега гроулера. Это препятствие он, должно быть, решил преодолеть. Но не тут-то было. Решение забраться на его вершину легче было принять, чем осуществить. Это пингвин осознал после нескольких достойных упряма попыток вскарабкаться по отвесному склону гроулера. Наконец, найдя удобное место, пингвин подпрыгнул и, цепляясь за неровности льда, залез наверх, потом бесстрашно ринулся вниз, упав плашмя на обращенный к берегу склон, и приземлился

возле его подножия. Поболтав в воздухе ногами и помахав ластами, будто считая, что это крылья, пингвин решительно направился к берегу.

Там теперь стоял Форбэш, испытывая непонятное смущение, словно перед какой-то важной церемонией. Взяв кларнет, он в знак приветствия извлек из него высокий мелодичный звук. Пингвин остановился, широко расставив ноги и растопырив ласты. Задрав кверху клюв, он быстро покачал головой.

— Черт возьми, да он дирижирует мной, — произнес Форбэш.

Пингвин снова зашагал вперед, лихо перемахнул через трещину возле самого берега, даже не подумав прикинуть ее глубину, и стал подниматься вверх, пока не очутился на рыхлом снегу сугроба. Форбэш стоял неподвижно: он не знал, что ему делать. Ему казалось, что это была важная встреча и что он, с вершин своей славы и шестифутовой высоты и веса в сто шестьдесят фунтов, должен хоть каким-то образом выразить восхищение перед этим доблестным восемнадцатидюймовым, весом в четырнадцать фунтов странником, который так ловко и бесстрашно покрыл по застывшему морю расстояние в семьдесят, а то и восемьдесят миль. Пингвин стал устраиваться на ночлег.

— Ну и будь ты неладен. Черт с тобой, раз ты такой необщительный, — проговорил Форбэш, наконец-то ощутив облегчение. Он повернулся и стал подниматься по склону в сторону колонии. Там он остановился и увидел, что пингвин следует за ним. Он шел совсем медленно, словно желая выразить свое безразличие к человеку. Поднявшись наверх, пингвин пересек территорию колонии, направляясь к южным склонам побережья. Вид у него был занятой и сосредоточенный. Дойдя до середины расположенной на холмах колонии, он остановился и, растопырив ласты, произнес: «А-а-ак!» По-видимому, он находился в растерянности. Пингвин лег спать, а Форбэш остался стоять на некотором расстоянии от него. На этот раз он был терпелив и внимателен.

Через пять минут пингвин проснулся, торопливо прошел яров двадцать, не делая ни единого неуверенного движения, и остановился возле крупного валуна у гнездовья, обращенного в сторону хижины. Там постоял, потом сделал два шага вперед, наклонил голову, взял в клюв небольшой камешек, медленно повернулся, шагнул к следующему гнездовью и осторожным точным движением, вытянув шею и оставив для равновесия ласты, положил камень. Форбэш ясно разглядел белое колечко вокруг округлых темно-карих глаз птицы.

Не встретив соперников, пингвин, казалось, был доволен тем, что его притязания на гнездо оказались законными, и собрался бурно выразить свое удовлетворение. Выпрямившись, он воздел ввысь свой клюв, вытянув, словно нырок, шею и опустив лапы, так что стал похож не то на стрелу, не то на копье или ракету, нацеленную в небо. Эта исполненная мужской силы фигура вот-вот должна была вознести свой вопль пола, тоскливый языческий звук его в мягкую синь небес.

Форбэш стоял неподвижно в ожидании этого звука, возвещающего начало жизни, чувствуя, как сердце у него ссохлось, застыло, жаждающая освобождения. Он чувствовал, как оно разбухает, подступает к горлу, трепещет при звуке мягких отрывистых воплей, возникающих в ослепительной груди птицы, потом в ее глотке. Прежде чем их услышать, Форбэш увидел эти звуки в ритмических спазмах напряженных мышц в горле птицы. Медленные размеренные звуки походили на удары цепа, размеренно падающего на крупные, налитые хлебные колосья; затем звуки, возникающие в конвульсивно сжимающейся глотке птицы, участились, став похожими на свист ветра в лесу, и, наконец, вырвавшись из клюва, превратились в громкий клик. *Ка. Ка. Ка. Какакакааа, какакакааа, какакакааа.* Выпрямленными лапами пингвин бил в такт своей музыке.

Солнце светило прямо в глаза Форбэшу. Он почувствовал, как его медленно охватывают тепло и усталость, когда пингвин перестал петь и втянул все еще подрагивающую шею в плечи, готовясь ко сну.

Наступила тишина. Мир наполнился птичьими духами, кружившимися над Форбэшем, касаясь его лица, которое уже больше не испытывало укусов мороза. Успокоенный, он пошел прочь, через замерзшее озеро к своей холодной и безмолвствующей хижине.

**4** КАЖДЫЙ ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ ТАК, ДУМАЛ Форбэш, будто поднимается занавес перед началом какого-то гигантского, волшебного и великолепного бездействия безграничной вселенной, словно единственная задача дня — это показать, что ничто не меняется, ничего не случилось. Это космического масштаба шутка. Нас обманывают, и мы верим, поскольку жизнь начинается и кончается, поскольку происходит

рождение и умирание, верим, что акты эти являются вехами времени, точными формулами существования. На самом деле, как это ни парадоксально, подобные события ничего не меняют. А вот я существую! Выкрикнув последнюю фразу, он приподнялся и сел. Пингвины! В одном белом он бросился на улицу.

Вдоль пролива дул сильный ветер. Снег от этого стал жестким и ломким. Холод пронизал Форбэша до костей, щипал пальцы. На южном склоне колонии, защищенном от ветра, сидели поодаль друг от друга три пингвина. Огромный мир вдруг ожил и ревел ветром.

Поставив на шипящий примус воду для каши, Форбэш стал торопливо одеваться. Обращаясь к кролику, он сказал: — Ха-ха! Альфонс, ты, глупо ухмыляющийся кролик! Ведь ты не думал, что пингвины придут, не так ли? Ты в это не верил, ты просто сидел и по-дурацки усмехался, не так ли, Альфонс? Но ты ошибся. Они пришли, Альфонс, пришли. — Он кинул в Альфонса грязный носок и чуть не сбил его с проволоки.

К концу недели собралось около сотни пингвинов, ими были испещрены склоны вокруг колонии. Пролетели первые чайки-поморники. Покружив, они исследовали колонию и через некоторое время двигались к югу или, не столь охотно, назад, к северу. Форбэшу оставалось пока лишь производить ежедневный подсчет пингвиньего населения да изучать повадки пингвинов. Излюбленным уголком по-прежнему было его убежище на Мысу, откуда он мог наблюдать и за новопривычными, и за теми птицами, которые уже строили свои гнезда.

В субботу, в десять часов утра, над Мысом в вышине пролетел вертолет — прозрачная алая птица, которая парила в воздухе, словно бы нацеливаясь на вершину Эребуса. Казалось, то был жаворонок, что повис над весенними лугами так высоко, что слышится лишь его журчанье, а его самого не видно. Форбэш пристально глядел ввысь, щуря глаза от холодного голубого света, потом озабоченно взглянул на пингвинов. Какое-то время вертолет висел как бы в нерешительности, затем плавными кругами начал снижаться, осторожно и деловито метаясь на озеро Пони.

Когда машина снизилась до тысячи футов, Форбэш поднялся. Пингвины стояли, то задирая головы, то торопливо, нервно оглядываясь. Сидевшие в наполовину недостроенных гнездах птицы, похожие на наклоненные черно-белые бутылки, медленно вытягивали лапы, боязливо поглядывая вверх. Форбэш сжал кулаки, увидев, что вертолет начал, плавно кружась, спускаться до шестисот, пятисот, четырехсот футов. Не выдержав, бросился бежать

первый пингвин. Он спотыкался. Шея его была вытянута, клюв открыт, лапы откинута назад, перья на голове встопорчились. Он скакал среди валунов, попадавших на пути, и споткнулся о птицу, сидевшую на гнезде, спрятавшись за камнем. Возникла драка. Форбэшу казалось, что сквозь грохот лопастей он слышит ожесточенные удары ласт и щелканье клювов. Продолжая драться, обе птицы покатились вниз по галечному склону. Там они расцепились и, окровавленные, бросились бежать в сторону бережья. Теперь они были частью толпы перепуганных птиц, которые сломя голову бежали, скакали, скользили по направлению к льдам, на север, к солнцу. Тут Форбэш потерял их из виду: лопасти вертолета подняли облако снега, когда машина стала медленно и неуклюже опускаться на лед озера.

Форбэш стоял неподвижно, чувствуя, как этот чудовищный искусственный ветер впивался ему в глаза и ноздри, сек лицо острыми частицами снега и песка. Когда мотор остановился, стало видно, что вокруг вертолета снег выметен начисто. Так вокруг палки, сунутой в воду, образуются расходящиеся круги. Лопастей все еще вращались, но постепенно замедляли свое движение. Форбэш стоял посреди опустевшей колонии. Из вертолета вылезли пилот, второй пилот и техник, похожие на изваяния, вылепленные первобытным скульптором. Они молча стояли возле машины, расставив ноги, и смотрели на него. Он, ни слова не говоря, глядел на них, отделенный полусотней метров холодного воздуха. Глядел долго, казалось, уже несколько минут. Лопастей перестали вращаться.

— Эй! — произнес один из пилотов.

«Болваны, идиоты несчастные. Они даже не соображают, что здесь колония пингвинов», — подумал про себя Форбэш. Он ответственно поднял руку и стал спускаться по склону. Все трое неуклюже направились к нему навстречу.

— А мы-то думали, что пингвинов увидим. И потом, мы привезли вам почту. А куда они подевались, эти пингины? Нет, правда, мы думали, что обязательно их тут увидим.

— Господа, — произнес Форбэш, ступив на лед озера. — Как ни счастлив я встретить вас, должен с огорчением сообщить, что пингины отказались от удовольствия познакомиться с вами. В сущности, вы до смерти перепугали бедных глухих животных, и они, рая друг друга, бросились бежать к морю!

Тишина. Пилот, второй пилот и технарй устали на Форбэша, потом переглянулись. Все еще сжимая в грязном кулаке шапку (он сорвал ее, когда снижающийся вертолет поднял целую

бурю), с растрепанными волосами, заиндевелой бородой и распухшим, воспаленным носом, Форбэш с сердцем проговорил:

— Идиоты несчастные!

— Ну, это самое... Извини. — Пилот шагнул, протягивая руку, в своем неуклюжем оранжевом костюме и, кивая головой, отягощенной шлемом, добавил:

— Мы все-таки тебе почту привезли...

Форбэш сел на первый попавшийся камень и с минуту сидел, подперев подбородок кулаками. Потом медленным жестом подождал их к себе. Мелкими, осторожными шагами вертолетчики двинулись по гладкому льду.

— Вы, видно, тут новички, — сказал Форбэш.

— Это точно, я сюда прилетел только вчера. Мы пока осматриваемся. Красиво тут. А вы не хотите закурить? У тебя есть сигареты, Джонни?

Второй пилот с важным видом расстегнул одну из многочисленных застежек-«молний» (его руки, ноги, грудь и ягодицы были сплошь покрыты застежками, словно по профессии ему полагалось иметь множество органов, которые следовало убирать и застегивать, когда они не были нужны), достал сигареты и протянул их пилоту.

— Вот, закурите. Как вы себя чувствуете? Понимаете, мы только вчера прилетели; мы слышали про этих пингвинов, вот нам и захотелось взглянуть на здешние места. Не хотите закурить? Кто-то нам сказал, что один из ваших парней «птичников» находится здесь, мы спросили, не надо ли что прихватить с собой. Вот нам и дали этот мешок с почтой. В общем, меня зовут Эл Уайзер, рад познакомиться, не хотите ли закурить?

Форбэш, по-видимому, мало что расслышал из этой речи. Он по-прежнему сидел, теребя бороду, окруженный тремя оранжевыми фигурами, которые озабоченно глядели на него.

— Спасибо, не хочу. Я предпочитаю особые обезвоженные новозеландские сигареты, — помедлив ответил Форбэш. — Садитесь, мистер Уайзер, садитесь, господа. Господа, эти пингины, на которых вы хотели взглянуть, убежали, потому что ваш вертолет их напугал. Через несколько часов, надеюсь, они оправятся от страха и вернуться в свои гнезда. Однако путь им предстоит долгий и трудный: открытое море находится не в паре миль, а в семидесяти пяти милях отсюда. Представьте себе, господа, каково пройти семьдесят пять миль, если ноги у вас длиной всего в три дюйма. Представьте, что вам приходится голодать сорок дней, пока вы строите гнездо из камней, ухаживаете за супругой, дере-

тес с соперниками, спариваетесь, присматриваете за беременной женой, высиживаете снесенные ею яйца. Представьте, что, когда вы занимаетесь этими долгими и опасными делами,— причем не по своей охоте, а благодаря непреодолимому инстинкту,— огромное красное чудовище с шумом спускается на вас с небес, поднимая бурю и тучи снега, и из чудовища вылезают три оранжевых человека. Вы бежите, господа. Падаете со скалы, ломаете себе шею, закатываете истерику и топчете своего соседа, который в ответ бьет вас до крови своими острыми лапами. Вы бежите, так как не знаете, что умереть у вас много шансов и без того: льды и ваш родительский инстинкт убьют вас. Вы просто убегаете от этой огромной красной птицы и трех оранжевых человечков. Господа, прошу вас, дайте мне мою почту, поскорей убирайтесь отсюда и расскажите своим друзьям о маленьких пингвинах.

Форбэш поднялся раньше, чем оранжевые люди медленно двинулись назад. Вид у него был дикий, патриархальный.

Третий вертолетчик побежал за почтой.

— Хорошо, сэр, хорошо,— сказал пилот.— Мы обязательно расскажем им, сэр. Нам очень жаль, мистер Форбэш, правда, жаль. Мы видели посадочную площадку на холме, но подумали, что оттуда далеко идти, вот мы и решили садиться прямо на озеро. Но мы не знали, что распугаем пингвинов, мистер Форбэш. В общем, мы им скажем, это самое, вот ваша почта, а мы, пожалуй, полетим, а то двигатель прихватит. Что тогда будет с пингвинами? Ну, мы, наверно, еще увидимся. Счастливо оставаться. А вообще-то вы, «птичники», странный народ. Ей-ей. Ну, пока.

Форбэш сидел на камне, сжимая мешок с почтой. Завизжали стартеры, двигатель закашлял, заработал, завертелись лопасти. Форбэш исчез в туче снега, который улегся, лишь когда вертолет исчез за холмом Флагшток.

«Форбэш — волшебник,— думал он про себя, прислушиваясь к снежному вихрю.— Вызывает красные чудовища и маленьких оранжевых человечков и заставляет их исчезнуть. Проклятие. Проклятие. Но все-таки побывал в человеческом обществе».

Размахивая мешком с почтой (почты в нем немного... какой-то пакет... ага! кекс!), он пошагал по пустынной колонии и дошел до участка, откуда был виден лед. Похожие на черные зернышки, брошенные чьей-то гигантской рукой, на севере, юге и западе виднелись фигурки пингвинов, продолжающих бежать со всех ног. Несколько птиц остановились; они нервно поглядывали

в сторону колонии, потом улеглись спать. Он знал: это надолго, на много часов.

«Не лучше ли приступить к своим обязанностям почтмейстера и владыки мыса Ройдс?» — подумал он. И тут с некоторым огорчением вспомнил, что не успел передать пилоту собственные письма.

Пожалуй, лучше всего читать письма в постели. Хотя наружная температура поднялась со времени его прибытия (было всего двадцать градусов мороза — это тепло, если нет ветра), ежедневно приходилось часами обогревать хижину. Он забрался в спальняный мешок, аккуратно разрезал запломбированный шпагат и вытряхнул письма на колени.

Так оно и есть. Кекс, надежно упакованный в жестяную банку с надписью, сделанной круглым, правильным почерком матери. Письмо от матери, открытки с предложением снять на курортном побережье коттедж для молодоженов по льготному тарифу, с предложением вступить в ссудно-страховое общество; банковский счет, отражающий его разгульную жизнь перед отъездом на стылый юг; уведомление о необходимости уплаты взносов в союз новозеландских рабочих, которое он ежеквартально получал вот уже три года после того, как, еще студентом, устроился как-то поработать во время каникул; открытка из Крайстчерчской публичной библиотеки с требованием возвратить просроченные книги; рождественское поздравление от члена парламента, за которого он голосовал (ничтожный повод для саморекламы), и письмо с таким адресом: «Антарктика, мыс Ройдс, Форбэшу Великому». Министерство связи совершило обычное свое чудо доставки.

Мать писала о том, что сельдерей растет очень споро, что нынче, похоже, будет хороший урожай помидоров, что спаржи урожайилось столько, сколько она никогда еще в своей жизни не видывала. Она писала, что видела по телевизору, как он на американском самолете прилетел в пролив Мак-Мёрдо, и удивлялась, почему у зимовщиков такой хмурый вид. Она надеялась, что он не одинок и что регулярно стирает свои носки. Тяжкий труд — лучшее лекарство от уныния. «Господь — Пастырь мой! Я ни в чем не буду нуждаться: Он покоит на злачных пажитях и водит меня к водам тихим...» Ричард, дорогой, мы так ждем твоего возвращения. Не хочется даже думать о том, что ты одинок в этом жутком краю.

Через северные окна светило солнце, и прочная, темная древесина тикового стола отливала золотистым блеском. А ведь почти жарко, подумал Форбэш, склонясь над примусом, чтобы разжечь

его. Солнечный свет залил его лицо; он, казалось, проникал во все поры его кожи.

«Милый Форбэш. Твое письмо дошло до меня, а я оказалась настолько добросовестной, что воздала тебе должное, написав эти строки».

Письмо Барбары он оставил напоследок. Стилль ее письма был изящен, преисполнен достоинства и несколько сух. И все же в тоне его сквозило любопытство.

«Но я же не успел послать свое письмо,—сообразил он.— О чем же это она, черт возьми?.. Ах, вот оно что...» Форбэш вспомнил, что на другой день после прибытия на базу Скотт он послал ей записку. Он откинулся назад, положил ее письмо на грудь, снова погрузившись в какое-то забытье, потеряв ощущение времени и пространства, и его вдруг охватило странное чувство уверенности в собственном бессмертии.

«Как поживает владычица снегов, мать Антарктика? Каково тебе, Форбэш, вкушать жизнь из ее холодной груди? Явились ли к тебе на юг вечные звери? Стал ли ты, как и они, животным, борющимся за свое существование, или же ты по-прежнему большой и гордый?»

Я сижу здесь под весенним солнцем, среди всех этих книг. Твое дыхание, доносящееся с юга, превращает эту библиотеку в окаменелый лес знания. Пока ты не уехал, он был живым. Слышится низкий рокот машинки для стрижки газонов, срезающей осторожную поросль академической травы, я чувствую весенний запах свежих побегов, зеленых, как жизнь. Если подойти к окну и выглянуть, то можно увидеть воробьев, купающихся в пыли. Бесцельно, точно пчелы летом, бродят студенты. Эти университеты мне надоели до одури. Я хочу тебя, олицетворение силы и действия. Форбэш, мне придется ждать, глупый, зачем ты оставил меня одну?

Спасибо за радиограмму. Когда вернешься, я скажу тебе: «Люблю». Подпись: «Б.»

Она так мало сказала, подумал Форбэш. Да и о чем еще тут говорить? Эй, пингины, давайте, пошевеливайтесь. Растите, спаривайтесь, кладите яйца, высиживайте их, выращивайте птенцов, умирайте или живите, уползайте прочь, на север, и дайте уйти мне. Отпустите же меня поскрей!

На примусе вскипела вода. Форбэш развернул газетную вырезку, вложенную в конверт Барбары. Заголовок гласил: «Крестоносец прибывает на велосипеде в Уэймейт». «Духовное возрождение — вот средство для исцеления душевной болезни, охватившей

нацию. Таково мнение прибывшего в Уэймейт из Веллингтона пятидесятиоднолетнего мистера Арнольда Дж. Брукера. Мистер Брукер проехал на велосипеде за четыре года свыше 50 000 миль. Все это время он старался доказать, что причину душевных недугов следует искать в духовных сферах. Свыше 32 000 листовок с требованием психиатрической реформы было роздано им... Психология и психиатрия — вот науки, которые позволят людям обрести достаточную силу, чтобы изгнать злых духов, заявил мистер Брукер».

«Прилагаю сие в доказательство того, что мы все по-прежнему безумны,— писала Барбара внизу вырезки.— Так почему бы не вернуться домой и не наслаждаться своим безумием в комфорте?»

О странный мир, подумал Форбэш. Почему так легко не чувствовать себя его частицей? Почему так славно и так горько пребывать в одиночестве? Он нанизал вырезку на гвоздь, торчавший из ящика у него над головой.

Дни шли, он продолжал регулярные обходы колонии и все явственнее ощущал свою власть над Мысом, льдами, громадой Эребуса и небом. Только солнце, казалось, оставалось вне досягаемости, и все же он жил с ним в атмосфере доверия, чуть ли не сговора. Оба они с солнцем были заступниками пингвинов; от них зависела жизнь этих птиц, оба они были их всемогущими стражами.

К концу первой недели ноября на галечных склонах собралось около тысячи птиц. Число их продолжало увеличиваться; пингины приходили группами в двенадцать—двадцать штук, иногда поодиночке, по двое или по трое.

Первым делом Форбэш спускался утром к побережью, чтобы встретить появляющихся со стороны моря чистеньких, сверкающих на солнце своей белизной пришельцев. Потом обходил птиц, пересчитывал их, начиная свой обход с самой верхней колонии на северном склоне. Теперь стало очевидным, что вся колония состоит из пятнадцати обособленных участков, население которых составляло от полудюжины пар до более ста. На то чтобы сосчитать количество пар и гнезд в каждой колонии, иногда уходил добрый час, если не больше. Форбэш пришел к выводу, что колонии нужно посещать поочередно, так как наиболее крупные из них настолько разбросаны, что наблюдать за ними в бинокль невозможно. Птицы почти не замечали его; к тому же они не успели обосноваться в своих гнездах настолько, чтобы защищать их, если он подходил слишком близко. Когда он проходил по колонии, птицы пугливо пятились, иногда отбегали на метр-два,

после чего шипели на него по-змеиному, откинув назад ласты и вытянув головы с выпученными, обведенными белыми кольцами глазами.

Дни были наполнены барабанной дробью и трубными звуками, сопровождающими ухаживанье, кликами восторга. Пары стояли, упершись чуть ли не грудью в грудь; они покачивали до предела вытянутыми шеями с такой грацией и размеренностью, словно танцевали менуэт; они извивались и раскачивались так, будто жаждали слиться более удовлетворяющим манером, чем это позволял неуклюжий процесс, уготованный им природой.

Иногда Форбэш, спрятавшись среди камней, молча наблюдал, как какой-нибудь одинокий пингвин, прямой и стройный, как летящее копьё, в экстазе начинал издавать kloкочущие звуки, бросая вызов «гнездовладельцам» колонии. Под звуки этой монотонной музыки — резкой и прерывистой, как гудение цыганских дудок, — сидящие в гнездах птицы начинали издавать низкий, жалобный стон, похожий на кошачье мяуканье: *уорррро, уорррро, уоррррро*, и в такт этому стону в экстазе бить ластами и тереть алчущими клювами перья на груди — сначала с одной, потом с другой стороны, — словно стараясь облегчить свои страждущие сердца.

Одним теплым и солнечным вечером, лежа на вершине склона колонии номер 7, подперев подбородок руками, Форбэш наблюдал первое спаривание. В полудреме он с час, а может, и больше следил за двумя упитанными, элегантными птицами необыкновенной красоты. Одна из них лежала в отлично выстроенном гнезде, другая нахохлившись стояла рядом, как бы отдыхая и в то же время чего-то ожидая. Иногда сидящая в гнезде птица вставала, и тогда пара молча начинала «смотрины», извиваясь в змееподобном танце, беззвучно и красноречиво открывая клювы, после чего птицы менялись местами.

Эребус возвышался ясной, покойной громадой. Шапка облаков плавно спускалась вниз, снег лежал чистой, ровной пеленой.

Наконец самец (Форбэш решил, что это так, по его поведению, поскольку пингвины не имеют внешних признаков пола), склонив голову, начал с серьезным видом ходить взад-вперед возле подруги. Самка, удобно устроившись в углублении гнезда, похожая на грациозную гондолу среди застывшего каменного моря, без признака нужды или желания, без рябинки на спокойной глади ее покорности ожидала минуты, когда самец осторожно ступил ей на плечи и начал ритмично топтаться на ее черных, мягких перьях, вытянув назад для равновесия ласты и прижав свой клюв к ее

жаждущему клюву. Форбэшу послышался легкий стук их клювов, ему показалось, будто слышен ритмичный топот ног пингвина. Звук этот как бы пульсировал у него в ушах. Топтанье участилось, стало более ритмичным. Клюв самца все сильнее впивался теперь в шею самки по мере того, как его танцующие, отбивая дробь, ноги, двигались вниз по широкой, вздрагивающей спине подруги. Наконец, самец, подняв хвост, оказался над ее напряженно вытянутой вверх клоакой. Их соитие было столь кратким, столь несложным.

Равнодушное спаривание птиц. Форбэш, с каменным лицом наблюдавший за происходящим, ощутил, как в нем где-то глубоко шевельнулось желание.

Теперь самец стоял перед своей спокойной подругой, наклонив голову и слегка надувшись. Он сделал несколько глотательных движений и нахохлился, засыпая.

В полночь, когда колония осветилась бледно-золотистым светом и птицы утомнились, Форбэш уснул. Ему снился сон. Вот он берет газету, чтобы взглянуть на бюллетень погоды, и вместо обычной точной и простой диаграммы — два вытянутых острова, окруженные концентрическими кольцами воздушных масс, движущихся по стране со стороны Южного океана, — увидел сложный и изящный рисунок, состоящий из переплетенных извивающихся линий вперемежку с затененными участками. Внизу было помещено сообщение Новозеландской метеорологической службы. Там говорилось, что во всех частях страны стоит дьявольски хорошая погода, так что бюллетень погоды публиковать нынче незачем. А метеорологи, дескать, чтобы развлечься, начертили восхитительнейший орнамент в знак своего удовлетворения погожим днем, каковой и помещается здесь в надежде, что он доставит удовольствие и публике.

С каждым днем Форбэш все более оживал. Бродя по колонии, он ощущал себя отцом множества детей, чьи характеры постепенно раскрывались перед ним. Эта птица миролюбива, эта пара живет недружно, в постоянных ссорах, эти двое внимательны друг к другу, добросовестно строят свое гнездо, а вот эта пара — легкомысленна и не подготовлена к выполнению родительских обязанностей. Стояла золотая пора, когда размеренную жизнь птиц еще не нарушил голод, а на отрогах скал еще не расселись в ожидании поморники.

Форбэш приколотил к бамбуковому шесту крышку от ящика и ярко-оранжевой краской вывел: «Полярная компания по разве-

дению пингвинов. Ферма «Счастливые каникулы» студеного Юга. Посетители нежелательны. Владелец фермы Р. Дж. Форбэш. Шест этот он установил у кромки озера, укрепив его камнями, и отправился по своим обычным делам. Он почувствовал, как просыпается в нем инстинкт земледельца — желание обрабатывать почву, видеть, как вокруг все расцветает и растет. Иногда он отправлялся на Берег Доступности и там, длинный, деловитый, стоял со своим сачком, напоминающим сачок для ловли бабочек. Этот, правда, был побольше. Сачок был прикреплен к длинной палке и использовался для ловли пингвинов, прибывающих с моря. Форбэш маркировал птиц оранжевой краской, забавляясь тем, как они протестовали и совсем по-детски вырывались из рук (это, очевидно, было величайшим оскорблением их достоинства). Такая операция позволяла ему следить, к каким именно гнездам направлялись птицы.

Впоследствии, если окажется, что птицы хорошо прижились в колонии, он снова поймает их и привяжет к лапам пронумерованную ленту. Фактически она будет как бы отличительным знаком данного пингвина, и с помощью бинокля за ним можно будет наблюдать. Его преемники смогут в течение многих лет наблюдать за размножением птиц и, возможно, разделят его (теперь почти твердое) убеждение в том, что значительная часть взрослых птиц из года в год соединяется с одним и тем же супругом (или супругой) и садится на одно и то же гнездо.

Он заметил, что восстановление брачного союза не всегда проходит гладко. Иногда самец, обосновавшийся в наполовину недостроенном гнезде, принимал ухаживания самки, только что вернувшейся с моря. Начинались взаимные «смотрины», самка доверчиво собирала камни для гнезда, видно, намереваясь в нем обосноваться. Но тут появлялась законная жена. Страсть супруга к возлюбленной остывала после бурной встречи с «благоверной», и бедняжка бросалась наутек, подгоняемая ударами и клевками супружеской четы.

Форбэш не мог взять в толк, как это пингвины распознают друг друга, если ничем не отличаются один от другого. Пингвины тупы, заключил он, установив, что иногда они не узнают своих супругов и даже путают пол; бывало, что, собравшись начать акт воспроизведения, его участники менялись ролями для успешного его завершения.

Форбэш наблюдал за птицами с неослабевающим интересом, спрятавшись где-нибудь, по восемь — десять часов кряду. Он жевал шоколад или фруктовый кекс и отхлебывал из термоса кофе,

когда у него затекали конечности и он зяб. К своему удивлению, он обнаружил, что некоторые птицы узнают свои гнезда, даже если они засыпаны снегом. Оказавшись на месте, где должно находиться гнездо, пингвины оглядывались кругом, посматривая сперва одним, потом другим глазом. Первые собранные ими камни, впитывая солнечное тепло, несколько часов спустя растапливали снег, и тогда пингвины лапами утаптывали его вокруг гнездовья. Часто вспыхивали ссоры, особенно когда взрослая птица, возвратясь к своему гнезду, обнаруживала там незрелого пингвина. Законному владельцу почти всегда удавалось прогнать захватчика из собственного гнезда и из пределов колонии. Каждая колония жила автономно, однако пингвины держались тесной, обособленной группой не потому, что в них сильно было общественное начало, а лишь для самозащиты, и еще потому, что количество гнездовий было ограниченным.

Камни, каждый едва ли больше ореха, по-видимому, играли важнейшую роль в этот период жизни птиц. Без них пингвины не могли бы сидеть на яйцах и выращивать птенцов в первые, наиболее опасные для них недели. Они создавали как бы воздушную подушку под «наседкой», изолируя яйца от соприкосновения с почвой, никогда не оттаивающей, а также спасали их от потоков воды, которые появлялись после таяния сугробов, наметенных поземкой. Эти камни позволяли птицам содержать гнездо в чистоте. Вокруг каждого гнезда постепенно образовывалось звездобразное кольцо испражнений, выбрасываемых сидящей на яйцах птицей путем мощного сокращения анальной мышцы. Форбэш заметил, что экскременты всегда были зеленоватыми из-за наличия желчи, в них не было и следа красного цвета, характерного для кормящихся рачком птиц, живущих у моря. Путь пингвинов с моря был так долог, что в их желудках не оставалось запасов пищи. Единственным источником питания для них оставался теперь подкожный жировой слой.

Однажды Форбэш собрал с мешок камешков, выкрасил их все до одного оранжевой краской и оставил кучками в нескольких колониях. Спустя несколько дней он обнаружил цветные камешки буквально в каждом гнезде — доказательство того, что этот материал жизни пользуется большим спросом и постоянно находится в обращении.

Иногда, чтобы подобрать камешек, птица удалялась от гнезда ярдов на сто и пробегала, неуклюже наклонившись вперед, «сквозь строй» своих соседей по колонии, которые мимоходом клевали ее — одни со злостью, другие потехи ради. Иногда камешек

падал, и глухая птица, вместо того чтобы его тут же подобрать, начала свой тяжкий путь наново.

Некоторые пингвины проявляли значительную хитрость и скрытность, другие были настолько бестолковы, что Форбэш не мог удержаться от смеха при виде их. Однажды утром он наблюдал, как счастливый супруг спал, в то время как его холостой сосед трудился над благоустройством своего гнезда; он с тщанием клал камешек к камешку и вновь ковылял за следующим камешком. Всякий раз, как он возвращался, спящий пингвин просыпался. Почти не сходя с места, он вытягивал шею, похищал принесенный соседом камень и клал его на и без того внушительное гнездовище, в котором гордо восседала его самка. К тому времени, как строитель-сосед возвращался, плут снова «засыпал». В это же время два пингвина-одиночки деловито разрушали гнезда друг друга. В течение двадцати минут они ходили друг мимо друга от одного гнезда к другому, находившемуся всего в пяти ярдах. Оба одновременно поворачивались друг к другу спинами, чтобы взять камешек из ближнего гнезда. Каждый возвращался к своему гнезду, не зная, что переливает из пустого в порожнее, но, правда, подозрительно поглядывая на соседа, всякий раз попадающего на пути. Вдруг одна из птиц выбилась из ритма. Она была на полпути к своему гнезду, когда сосед брал отсюда камешек. *Аааак!* Пингвин набросился на воришку, в гневе разинул клюв, захлопал лапами. Уверенный, что право на его стороне, он легко справился с противником и возмущенно протанцевал в своем гнезде.

Препарирование — единственный способ установить пол птицы; кроме того, Форбэшу нужно было определить толщину жировой прослойки у птиц, прибывающих в колонию. Чувствуя себя мясником, он отправился за первой жертвой. В кармане у него лежало большое шило.

Он выбрал самку, которая всего несколько минут назад завершила спаривание, и, почти не встретив сопротивления, поднял птицу из гнезда, держа ее в вытянутых руках.

— А ну-ка, пингвинчик. — Форбэш сел на камень неподалеку от колонии и стал осторожно надавливать на желудок птицы, чтобы очистить его. Пингвин спокойно сидел у него на коленях, пока он доставал шило. Форбэш прижал его голову к своей ноге, быстрым движением воткнул шило в затылок птице и повернул его. Птица встрепенулась и тотчас замерла.

— И что же произошло? — воскликнул Форбэш, обращаясь к Эребусу и небесам. — Что изменилось, я спрашиваю?

Когда он поднялся, за ноги держа внезапно обмякшей рукой тушку птицы, то увидел, как ее супруг плавно и грациозно исполняет брачный танец над опустевшим гнездом.

12 ноября Форбэш обнаружил первое яйцо. Вернувшись к гнезду через несколько часов, он нашел там и второе — полный комплект. Самка все еще сидела на яйцах, отдыхая после выполненного материнского долга. Спустя несколько часов она отправится в море за пищей, предоставив супругу долго и терпеливо сидеть на яйцах. Если ледовые условия будут благоприятны, она вернется недели через три. Возможно, опоздает на день-другой. А возможно, и вовсе не вернется. Возможно также, что, возвращаясь, вместо гнездовья она обнаружит лишь запачканный гуано холмик, на котором даже камней не осталось.

Скоро начнут строить свои похожие на лунки гнезда и чайки-поморники, кружащие высоко над колонией, высматривая себе жертву, хищно проносясь над озером, или же исторгающие свои злоеющие вопли, усевшись среди полуночных черных скал, изъеденных лавой.

5

— ТЫ КОГДА-НИБУДЬ ЛЮБИЛА?

— Да, пожалуй.

— На что это походило?

— На магнит.

— Было больно?

— Это пожирало меня целиком. Я перестала быть самой собой.

— Он тебя любил?

— Я так и не узнала.

— Но как ты узнала, что любишь его?

— Потому что это походило на магнит.

— Почему ты так красива?

— В школе меня называли гадким утенком.

— Тебе это не нравилось?

— Очень. И я решила стать красивой.

— Как же ты могла его полюбить, не зная, любит ли он тебя?

— Такова уж любовь.

— Так ли?

— Да, любовь именно такова.

— Как же ты мирилась с тем, что любя, не была любима?

— Ведь я была гадким утенком.

— Как же ты стала красивой?

— Потому что была гордой. Да и мои железы мне как-то помогли.

— А что, если я буду вспоминать о тебе, когда мы расстанемся?

— Ладно. Пожалуй, я буду и этим гордиться.

— Ничего, если я буду вспоминать тебя сейчас, вот так, прижавшись губами к твоей груди?

— Да, если ты не будешь вспоминать меня слишком часто.

— Ничего, что я гляжу на тебя?

— Ну конечно. Гляди на здоровье. Уж это-то я могу тебе позволить.

— Это потому, что ты красива, и такой я хочу тебя запомнить, когда уеду. Ничего, что я положил сюда руку?

— Ничего. Меня радует, что ты так смотришь на меня.

— Я хочу запомнить прикосновение твоей руки к моему затылку, мое прикосновение к твоим бедрам. Это можно?

— Да. Зачем ты уезжаешь? Боже, ведь я изо всех сил стараюсь тебе понравиться. А к чему? Зачем ты уезжаешь?

— Не знаю. Мне нужно работать. Просто не знаю. Потому, может, что жизнь там богата. Можно мечтать. Все очень просто. Вспоминается разное.

— Что же именно?

— Да всякая всячина. Вещи, о которых забыл много лет назад. То, что происходило с тобой в отрочестве. Очень важные вещи, которые происходили вчера, но о которых ты забыл, потому что это тебе неприятно. Свои прегрешения. Как ты обижал людей. Как люди обижали тебя. Но теперь ты можешь им это простить. Вспоминаешь мать, какой она была, когда тебе было три года. Как тебя брал на руки отец, как ненавидели тебя ребяташки в детском саду; отчаяние, которое ты испытывал, когда тебе исполнилось пятнадцать, потрясение при виде послета у обьягнвившейся овцы, при виде грудей у соседской девочки; после победы на гонках, как впервые напился, впервые поднялся на вершину горы, как впервые поднялся из твоих глубин на поверхность моря. Тсс! Я хочу посмотреть на тебя.

Любовь, сказала ты, похожа  
На лепестков цветенье  
В сердце и питается  
Сияньем лучезарных тех цветов.

— Как ты узнала, что стала красивой?

— Поглядев в зеркало. Однажды я поняла это сама. Никто мне не говорил.

— Ты когда-нибудь чувствовала себя одинокой?

— Да.

— Когда ты особенно остро почувствовала свое одиночество?

— Когда ехала верхом в горах. Было ветрено. Ветер ворошил поросшие травой кочки. На берегу реки блестела галька, вода походила на расплавленный металл. Подо мной была большая вороная лошадь, и я видела, как ягнится овца.

— Который час?

— Около двух, наверно. Ты устал?

— Нет. Да и не в этом дело. Через восемнадцать часов я улечу. Через восемнадцать часов я буду над Южным океаном, на высоте двадцати пяти тысяч футов.

— И останутся у тебя одни воспоминания.

— Я по-прежнему смогу ощущать тебя. Закрыв глаза, я буду ощущать прикосновение твоей груди к моей ладони. Я подложу в изголовье свитер и услышу запах твоих духов. Правда, месяца два-три спустя это превратится в пытку.

— Почему ты знаешь? А как же твои другие женщины?

— Ты стираешь их из моей памяти. Для них не останется места.

— Это очень плохо — быть без женщин?

— Иногда да. Это ощущается нутром. Похоже на головную боль после пьянки, когда просыпаешься часа в четыре утра. Представь себе воскресное утро после субботней попойки. Ты обнаруживаешь, что бутылка с ромом пуста, а в ящике с пивом не осталось ни одной целой банки. На воле Эребус розовеет, точно маков цвет, оттого что солнце повисло над Белым островом. Гряда торосов перед базой все еще темна. Она движется, словно лед ожил. Хочется раскинуть руки и лечь на него, закрыть его, обнять, согреть его своими неиссякаемыми запасами тепла.

— Должно быть, это ужасное ощущение.

— Не совсем. Всегда можно лечь в постель и вообразить, будто ты не одинок. Я буду вспоминать тебя.

— Интересно, как я узнаю об этом, если тоже захочу, чтобы ты обладал мною?

— Ха! Не думаю, чтобы это произошло.

— Не говори так. Не говори так, прошу.

— Прости меня... А хуже всего — музыка. Я знаю, что некоторые мелодии пробуждают во мне воспоминания о тебе. Я слышу их, слышу, как исполняет их разбитый граммофон с базы Скотт. Я буду исполнять их на кларнете и тосковать. Музыкой я буду заниматься нечасто, только когда почувствую себя одиноким.

— Почему же ты будешь одиноким? Куда же ты едешь?

— На мыс Ройдс. На все лето. Птицы, тюлени, льды и я. Наверно, иногда меня будут навещать. Так что все не так уж плохо.

— Подвинься ко мне. Вот так. Теперь положи руку сюда. А эту — сюда. Вот так. А что, если я не буду без тебя скучать?

— Как скрипит эта кровать. Я думаю, это не будет иметь большого значения. В конце концов, ты все-таки будешь существовать. Тебе все равно придется жить своей жизнью. Я один буду изолирован от внешнего мира.

— А если я все-таки буду по тебе скучать все это время?

— Тогда, наверно, ты станешь ждать.

— Но что, если ты переменишься, когда вернешься? Ведь целое лето пройдет...

— А я и не замечал, чтобы за одно лето что-то непременно изменялось, чтобы на земле происходили какие-то перемены.

— Это не ответ.

— Как же мне еще отвечать?

— Придвинься ближе. Почему ты меня не поцеловал?

— Не знаю. Мне кажется, что все это один долгий поцелуй. Вот это. У нас так мало времени, что это бесконечно. Ведь время ничего не значит. Его много.

— Тогда поцелуй меня.

— Я буду помнить это. Ради этого можно быть хоть четвертованным.

— Тогда поцелуй меня.

— Хорошо.

— Ты запомнишь этот поцелуй?

— Да. Мир, в который я отправляюсь, так жесток и так прекрасен. Это обиталище высоких мыслей и идеалов, но едва ли всякий, кто там побывает, сохранит их. Послушай. Благодаря тебя. Каждый человек оказывается там наедине с собой, со своими мечтами, своей подсознательной жизнью, внутренним своим миром. Иногда пытаешься поделиться всем этим с кем-то, чувствуешь, что должен излить душу, но ничего не получается. Порой там так тяжело. Все вокруг или черное, или белое; все определено, недвусмысленно. А мы так привыкли к двусмысленности. Мы живем в двусмысленном разноцветном мире. Но там — там только два цвета — черный и белый. Цвета воздуха и воды. Я так рад, что буду одинок, так недвусмысленно одинок. Поцелуй меня.

— Хорошо. Послушай. Теперь я твоя. Скорей. Ну же. Скорей.

Когда он ушел от нее, было утро, мягкое от тумана, пришедшего с реки, — прохладное, туманное по-весеннему зеленое утро. Крупные пурпурные цветы рододендрона лежали, растоптанные, возле калитки. Поблескивая, они напоминали растерзанные клочья мяса. Широко раскрытыми глазами он оглядел светящееся небо; возле автозаправочной станции, работающей круглые сутки, остановился и вызвал по телефону такси.

У поморников наступила пора ухаживаний. К концу последней недели ноября первый крикливый самец-поморник заявил свои права на один из участков пингвиной колонии, издавая то и дело воинственный клич *кааа, кааа, кааа, кааа, кааа*. При этом он гордо поднимал голову и выпячивал грудь, широко разевая свой кривой хищный клюв. Он вызывающе выставил вперед одну ногу и растопырил распластанные крылья, покрытые белоснежными, черными и роскошно-коричневыми перьями. После ежедневного подсчета снесенных яиц — а на это с каждым днем уходило все больше времени — Форбэш отправлялся на свое излюбленное место в пингвиной колонии, пытаясь установить, каким образом разрешают поморники «колониальный вопрос».

К концу месяца выяснилось, что территорией колонии владеет всего шесть пар этих птиц, а дюжина поморников или около того хотя и гнездится на скалах Мыса, но кормится за пределами колонии. Форбэш каждый день брал с собой карту колонии, и ему мало-помалу удалось определить «сферу влияния» каждой пары. Поморники не останавливались ни перед чем, чтобы отбить у пришлых птиц охоту посягать на здешние земли. Целыми днями звучали их клики, заглушавшие даже пингвиний гвалт. Когда образовывалась пара, поморник-самец начинал ухаживать за самкой, кормя ее. Кормление это продолжалось до тех пор, пока из яиц не вылуплялись птенцы.

В эту-то пору Форбэш и осознал, до чего же ненавидит он поморников. Сознание это встревожило его, столь гордившегося своей научной объективностью. Потом он уже и не помнил, когда впервые почувствовал эту ненависть, но знал одно: просыпалась она всякий раз, как он слышал злобные и непрерывные вопли самки, требовавшей пищи и заставлявшей своего супруга убивать, промышлять, грабить пингвинов и даже то и дело летать к далекому морю, возвращаясь оттуда, нагружившись рыбой, в ледяном панцире, покрывающем голову и грудь.

Возвращаясь с промысла, самец приземлялся, мощно тормозя крыльями, точь-в-точь, как та птица, которую Форбэш увидел первой туманным весенним днем. Самец садился где-нибудь в стороне от гнезда, расположенного на вершине гряды, и самка тотчас опротивело бросалась к нему. Эта прожорливая тварь скакала с камня на камень, нахохлившись, вытянув шею, разинув клюв, и кришуче требовала добычи. Не успевал поморник отрыгнуть свой груз (некоторые рыбины достигали шести дюймов), как супруга набрасывалась на него. Она клевала его в голову, в шею, в голодном иступлении била его крыльями. Форбэшу не верилось, что подобная свирепость вызвана одним лишь голодом. Он ненавидел ее прожорливость, жалел своих пингвинов, но поневоле восхищался целеустремленностью поморников, их свирепой активностью в борьбе за существование.

В самый разгар этого промысла, этой страсти убивать и пожирать (хотя Форбэш и пытался убедить себя, что это не страсть а жажда выжить; не прожорливость, желание полакомиться вкусным оранжевым желтком пингвиньих яиц, соленой кровью убитой птицы, покуда она не успела застыть на морозе, а лишь стремление уцелеть), приковывали по льду строить свои гнезда последние пингвины. Прошлым летом, когда открытое море находилось всего лишь в двух милях, в колонии насчитывалось 1600 гнездящихся птиц. Нынешним летом в колонии всего 1139 гнезд. В прошлом году вылупилось 1800 птенцов. Сколько-то их будет нынче?

А все-таки поморники смелые птицы. Хотя их всего шесть пар, а пингвинов — тысяча, всякий раз, как по земле проносилась тень поморника, по колонии точно пробегала рябь. Сидящие в гнездах пингвины задирали головы, нервно оглядывались, поводя клювом. После того как поморник пролетал, пингвины неловко усаживались в свои гнезда, в которых было по два белых яйца, другие поднимались и, исполнив танец обладания, наклоняли головы, чтобы подоткнуть под себя яйца, прижать их к лишенной перьев складке меж ногами, где яйца получали больше всего тепла.

Иногда поморники усаживались где-нибудь на скале и начинали наблюдение. Даже самки забывали о своей жадности, поскольку еды было хоть отбавляй. Тишь да гладь, думал Форбэш, наблюдая за тем, как поморник иногда неслышно опускался в самую гущу пингвинов, чтобы стащить яйцо, выкатившееся из гнезда у разнервничавшегося родителя. Поморник, выбрав свободную площадку, ронял яйцо, а потом, издав свирепый и наглый вопль, умелыми ударами клюва пробивал в скорлупе отверстие и жадно

высасывал желток. Пингвины даже не пытались отобрать у него яйцо. Оно оказывалось брошенным на произвол судьбы. Стоило ему очутиться за пределами неопрятной груды камней, как оно становилось ничейным. Пингвины лишь вытягивали шею, не слезая с яиц, и шипением выражали свою ненависть к поморнику.

Форбэш с ужасом подумал о том дне, когда количество яиц, подсчитываемых им ежедневно на одном участке колонии за другим (четыре вертикальные палочки, перечеркнутые пятой), достигнет вершины, а потом начнет убывать. Пронзительные крики поморников были последним звуком, который он слышал, ложась спать, и первым — когда проснулся наутро. Оказалось, что пара поморников свила себе гнездо в вулканической складке за хижинной, и когда он пошел к сугробу, чтобы набрать снега для воды, птицы с воплями принялись пикировать на него.

Всякий раз, когда Форбэш видел, как пингвинья чета меняется местами, его охватывала легкая дрожь какой-то тоски, отчаяния. Каковы их шансы, что то их ожидает в этот солнечный день, когда белоснежные льды мерцают на севере, сливаясь с горизонтом? Какое будущее у этих яиц, у этой отощавшей, утомленной самки, которая слезла с яиц и после торжественной церемонии уступила гнездо супругу, и он осторожно подсунул яйца под себя, готовясь к долгому и изнурительному посту? Самка обычно час-другой стояла возле своего супруга, как бы сочувствуя ему, и печально качала головой. Затем напоследок собирала камни. Это было не то знаком внимания, не то обрядом. Она сейчас уйдет на семнадцать, восемнадцать, девятнадцать суток — не меньше, — чтобы отъехать у моря и принести птенцам целый зоб пищи. А он будет ждать ее, ждать, с каждым днем понемногу слабея, теряя тепло, испытывая все больший голод, не успев еще оправиться после долгого семидесятимильного путешествия по твердому голубому льду. Сумеет ли он дождаться?

Наконец она уходила, осторожно и в то же время уверенно выбирая дорогу среди соседей, двигаясь вниз, к берегу, по каменистой почве, грудам гуано, старых костей и соехшихся птичьих трупов, оставшихся с прежних лет. Если самка оказывалась там в одиночестве, то она ждала несколько часов, пока к ней не присоединялись три-четыре подруги, только что снесшие яйца и ослабевшие, как и она. Растянувшись цепочкой, они двигались к северу, туда, где простиралась синь моря, которую видел умственным взором Форбэш.

Каждый раз, когда такая группка отправлялась в путь, он невольно поднимался, произнося слова наутствия:

—С богом. Попутного ветра или чего там еще, не знаю.

Рекордная цифра была 1217 яиц. На шестьсот меньше, чем прошлым летом. К концу высиживания их, пожалуй, будет сотен на восемь меньше; к концу первой недели, после того как вылупятся птенцы, будет на тысячу меньше, а к концу месяца — на тысячу двести. Меньше от года к году. Сколько еще пройдет лет, сколько раз повторится бесконечный цикл жизни и смерти на этом каменистом Мысу? Сумеют ли птицы уцелеть, выжить?

В колонии воцарилось сонное молчание, ритм жизни замедлился. Форбэш обнаружил, что эта терпеливость передалась и ему. Он стал созерцателем. Как он и предсказывал, ему стала вспоминаться всякая всячина. Чувство связи с прошлым настолько окрепло в нем, что собственная жизнь в укромном уголке старой хижины более не казалась ему необычной. Он пытался внести какой-то порядок в нескончаемый день; делал все в определенное время, ложился спать в полночь, а вставал в девять утра. Каждое утро, проснувшись, он готовил завтрак, мыл посуду, производил подсчет яиц, сидел в любимых местечках в колзнии часов до четырех, съедал легкий ленч; помыв тарелки, возвращался в колонию, чтобы отбирать птиц для препарирования, маркировать им лапы, фотографировать, взвешивать, обмерять яйца и сидящих на них пингвинов. Часам к семи он возвращался в хижину, готовил обед — все ту же похлебку из мясных кубиков (свежее мясо кончилось, кроме пары цыплят и почек, которые он приберег к рождеству).

Порою по ночам, как тогда, когда ему вспомнился разговор с Барбарой, такой неземной и прекрасной, у нее дома, в постели, он ложился поверх спального мешка и часами глядел в едва различимый потолок или же смотрел в окно на соседнюю скалу, где в своем гнезде возились поморники. Ему вспоминались разные события, слышались прежние разговоры. Он как бы находился вне себя и глядел на себя со стороны — снисходительно, с покровительственной усмешкой; он слышал, как срываются слова с губ его собеседников, кружась и взвываясь ввысь, словно дым. Он чувствовал себя нужным собственному прошлому, будто оно все еще продолжалось и без его участия не могло закончиться.

— Боже, какая тоска. Какая зеленая, беспросветная тоска, — вырвалось у него неожиданно, и он решил тотчас лечь спать. Он пытался придумать что-нибудь смешное, чтобы развлечься, вечером, например, сочинял ученый трактат, в котором выдвигал и, разумеется, доказывал яйцевую теорию размножения, утверждающую,

что детей рождает мужчина. Просто он кладет яйцо в матку женщины, где оно находится до момента вылупления, то есть рождения детей. Эта теория всегда интересовала его, так как, в сущности, она утверждала мужскую власть и достоинство.

Иногда он часами разглядывал свое лицо в стальном зеркале, с хирургической сноровкой и ловкостью извлекая из него угри, а затем принимался с помощью ножниц для ногтей подравнивать бороду, чтобы сделать лицо сугубо симметричным и чтобы на нем не торпорчился ни единый волосок.

Подобная деятельность обычно напоминала ему о том, что приводить себя в порядок не для чего. А это угнетало его до такой степени, что снова приходилось ложиться спать.

В иные ночи, несмотря на севшие батареи, он пробовал подслушивать шумы, которые производил мир. Особенно удовольствие доставлял ему «Голос Анд» и его религиозные передачи: они бесили его до такой степени, что он выбегал на двор и швырял огромные обломки лавы, стараясь проломить ими лед на озере. При этом можно было прыгать и орать: «Болваны, кретины несчастные, идиоты слепые!» Между тем голос с тягучим американским акцентом продолжал звучать, дрожа от вдохновения и самоуверенности. Форбэш бранил чаек-поморников, кидал в них камнями до тех пор, пока они не поднимали гвалт. После этого можно было войти в дом и приготовить себе успокоительную чашку какао.

Величайшим изобретением его гения явилась полифоническая музыкальная машина «Пингвин-мажор». Выяснилось, что этому изобретению, которое можно бесконечно усовершенствовать, уготована долгая жизнь. Форбэш изобрел этот инструмент... по ошибке, когда как-то вечером играл на кларнете (исполнялся блюз «Бейсн-стрит» с импровизированными вариациями в замедленном темпе) и грел свои босые и грязные ноги, положив их на стол рядом с ревушим примусом. Вскоре он обнаружил, что между пальцами правой ноги у него зажата вилка, и он в такт колотит ею по резервуару примуса. Он заметил это потому, что большому пальцу его ноги стало горячо, и вслед за тем увидел, что пальцем левой ноги держит высушенную пингвиновую лапу и царапает ею по крышке кастрюли, издавая при этом скрип низкой частоты — довольно мелодичный и в такт ударам вилки и звукам кларнета. Он замедлил ритм и перехватил вилку, с тем чтобы отодвинуться от пламени.

Это еще не было машиной в точном смысле слова, он вынужден был признать, но позднее, вдохновенно развивая идею маши-

ны «Пингвин-мажор», он все-таки решил, что первый его опыт был достоин такого названия. Создание ее началось с собирания — вслепую, интуитивно, — с первого взгляда бесцельного и в то же время демонически целеустремленного собирания различных материалов, характерного для всех великих изобретений. Форбэш всегда верил в то, что открытия делают походя, между прочим, что вещи, какие и не думал находить, попадаются на глаза сами по себе, по чистой случайности (он считал, что именно таким образом ему удастся сделать свой вклад в науку), и потому принял за дело, уповая на провидение. Его ничуть не обескуражило то обстоятельство, что цель его смутна, намерения неясны, а шансы на успех ничтожны. Неожиданное открытие, что кролик Альфонс умеет пищать, когда на него надавят, привело Форбэша в восторг и укрепило его веру в творческие способности своего подсознательного начала. Однажды вечером, во второй раз выпив рацию пива, он задел проволоку, которую оседлал Альфонс. Тот упал на пол, Форбэш наступил на него, Альфонс запищал, и тут Форбэша осенило.

В течение нескольких часов он лихорадочно трудился, на время отложив работу над главной деталью «Пингвин-мажора» — ксилофоном из шеклтоновских бутылок из-под соуса и колб профессора Т. Эджуорта Дэвида. Он создавал ножную пищалку «Альфонс». Не обошлось без трудностей: Альфонса нужно было закрепить на станке — составной части машины, — конструкция которого позволила бы прикрепить пищалку к ксилофону (Форбэш решил сделать музыкальную машину портативной), причем так надежно, чтобы Альфонс не сместился во время игры или транспортировки, но в то же время и не слишком туго, иначе Альфонс не смог бы набирать достаточно воздуха, чтобы пищать.

Форбэш был уверен, что в исторической конюшне Шеклтона найдется немного дерева. И верно, ему удалось обнаружить иссохшую доску нужной длины. Сперва он попытался привязать кролика к доске — основанию инструмента — с помощью бечевки от метеозонда, предусмотрительно стащенной им из метеобудки перед отъездом с базы Скотт. Но из этого ничего не вышло: всякий раз, как он нажимал босыми пальцами на живот Альфонса, тот чуть сдвигался в сторону и из пяти раз трижды отказывался пищать. Форбэш со вздохом признался, что еще не дорос до потребностей своего гения и что ему необходимо создать более совершенный инструмент.

А ларчик просто открывался... Им послужил ящик, открытый с одного конца и скрепленный ржавыми гвоздями образца

1906 года. К нему за уши и за ноги был привязан несчастный Альфонс. Кусок дерева попрочней все из того же стойла превратился в педаль, осью вращения которой (увы!) стала проволока от шеклтоновского тостера — решетки для поджаривания хлеба. Форбэш даже почувствовал угрызение совести. Он нажал педаль босой правой ногой. Альфонс запищал. Форбэш сыграл «Сентябрь в дождях» в дискуссионно-интерпретации, и Альфонс самозабвенно аккомпанировал ему.

На другой день, проснувшись, Форбэш почувствовал себя преступником. Как далеко по пути вандализма и надругательства над святыней, коей он единственный хранитель и посетитель, уведет его это новое увлечение? Он понял, что создание музыкальной машины принесет ему не только радости, но и муки, и все же не мог устоять перед страстью изобретательства. Словом, на ясном небе дня его первого концерта собирались темные тучи нечистой совести. Тогда он решил на день прекратить работу, лишить себя такого удовольствия с тем, чтобы, успокоив свою сознательность столь долгой борьбой, снова взяться за дело.

День был ясный, безветренный. Казалось, ведро и тишина — это естественное состояние Земли. Прошло столько дней, но ландшафт не изменился сколько-нибудь заметно, если не считать того, что постепенно исчезали сугробы вокруг хижины и в колонии; причем снег в них не таял, а испарялся, и тогда обнаруживалось, что появился новый валун или груда мусора.

Медленно пройдя по озеру, он пересек колонию и спустился к побережью. Перешагнув через трещину, ступил на припай; миновав гроулер и ледяной торос, остановился, греясь на солнце, стоявшем в зените, и стал разглядывать родную землю и Эрбус. Лед, на котором он стоял, казался столь же вечным, прочным и непрístupным для моря, как и суша. И тут он увидел тюленя: он лежал возле трещины у северного конца берега. Форбэш удивился, что не заметил его раньше. Рядом с животным лежал детеныш. Тюлененок взрыкнул и похлопал ластами, приветствуя солнце.

Форбэшу представилось, что тюлененок замахал ластами оттого, что вдруг ощутил в себе жизнь, радость движения, в жилах его как бы вскипела кровь и он исполнился сознанием того, что живет на белом свете.

«Но откуда он это знает? Хотя он обладает самоощущением. Только в чем тут разница?» — спросил себя Форбэш, подойдя ближе. Теперь ему видна была мягкая шелковистая серая шкура детеныша. Она была еще слишком велика для него и висела

складками вокруг шеи. Огромные черные глаза глядели просто-душно, не мигая. Тюлененок ударил трижды своим тощим хвостом по льду и, извиваясь, как все тюлени Уэдделла, пополз к матери, потом назад, чтобы взглянуть на Форбэша. На шмыгающем его носу блестели кристаллы снега.

— Как ты сюда попала? — спросил Форбэш тюлениху, похожую на огромную пятнистую сигару. Она лежала в углублении, прodelанном во льду теплом ее тела и родовыми муками. Тюлениха медленно провела когтистой ластой по иссеченной рубцями груди. Поблизости не было видно ни отдушины, ни молочного зеленого пятна талого льда, через который она могла всплыть наверх.

— Что-то происходит. Должно быть, лед слабеет, раз пропустил тебя. Значит, теперь он долго не продержится.

**В** ТЕБЕ НА РОДУ НАПИСАНО СТАТЬ ОРНИТОЛОГОМ, сказали ему однажды друзья. Ведь его назвали в честь Ричарда Джона Седдона (по прозвищу «король Дик»), известного политического деятеля той поры, когда Новая Зеландия становилась государством, — деятеля, чья серо-зеленая, воинственная статуя стояла перед зданием парламента в Веллингтоне. На голове статуи почти всегда отдыхала чайка, что свидетельствовало о неизменной близости Ричарда Дж. к птицам. Его волосы были белы от гуано — этой жидкой птичьей дани его величию и доблести. Таким-то образом и возникла нерасторжимая связь между политикой и орнитологией, которая должна была неизбежно привести Ричарда Дж. Форбэша на студеный юг.

Будучи чувствительным ко всякого рода розыгрышам, Форбэш нашел эту шутку слишком жестокой, так как он действительно гордился своей работой в Антарктике. Да и вообще он не был только лишь орнитологом. Его интересовали крупные проблемы, стоявшие перед наукой о жизни. Он не просто анатом или таксоном, имел он обыкновение говорить, но еще и кое-что смыслит в литературе и музыке.

— В наше время приходится специализироваться на чем-то одном. Наука все более усложняется, — объяснял он. А про себя прибавлял: «Черт возьми... Зачем же я воспринимаю все это всерьез?»

И все-таки его, бывало, сковывала неуверенность. Он любил цитировать одну работу — обзор современной биологии, — которую читал еще студентом: «Источник неуверенности представляется для нас фактор огромного значения.» Слова эти врезались ему в память, но он воспринимал гораздо шире заключенный в них узконаучный смысл, указывающий лишь на то, что в любом измерении или опыте скрыто существуют элементы неизвестности и неопределенности, возникающие лишь вследствие практических и материальных проблем данного измерения или опыта, которые всегда могут смешать самые тщательные расчеты. Уж если наука представляет собой лес неизвестности, то сама жизнь — поистине непроходимые заросли терновника. И даже его простая, разложенная по полочкам жизнь на мысе Ройдс утыкана шипами неизвестности в гораздо большей степени, чем он это предполагает.

Смутно он догадывался, что самой значительной неизвестной величиной является Смерть. Он жил рядом с ней. Время шло, неделя за неделей приближали его к Рождеству, и теперь Она проявлялась ежедневно и с каждым разом все чаще. И, как он понял, Она проявлялась уже в гибели зародыша в яйцах, которые ежедневно разбивали и высасывали поморники; тут смерть выражалась всего лишь в прекращении воспроизведения молекул протеина в турбулентном желтке. Прикосновение смерти было столь легким, что достаточно было нескольких минут мороза, чтобы оставленные без присмотра яйца погибли и без ударов острого клюва поморника. Понимая, что жизнь побеждает здесь лишь благодаря своему численному перевесу (ведь всегда оставались какие-то запасы в сосуде конвульсирующих, воспроизводящих клеток, как бы ни был тяжел лед, жестока пурга и наглы поморники), однако хищение каждой жизни, заключенной в яйце, Форбэш воспринимал, как удар по философии индивидуализма, в которую он бессознательно верил, воспринимал, как рану в душе, и без того осажденной силой слепого коллективизма и отягощенной сознанием личной незначимости. Он вновь и вновь убеждал себя: «Поморники тут не при чем. Просто они представляют другую силу в общем балансе сил, составляющих жизнь. Неважно, что происходит с яйцами. Они по-прежнему остаются частицей жизни. Жизнь не исчезает бесследно. Говорить о «мертвом» или «живом» бессмысленно».

Но поморников он ненавидел. Когда из яиц вылупятся птенцы, эти мерзкие птицы будут пожирать их.

С каждым днем все большее количество гнезд оставалось без присмотра. Казалось, какое-то беспокойство охватило всех обита-

телей колонии. У сидящих на яйцах самцов больше не было жировых запасов, и они были не в силах продолжать свой пост. Это уже не были те ослепительно чистые, упитанные и решительные существа, которые появились здесь месяц назад. Птицы отощали, перья на головах у них вечно торпорчились. Грудь была запачкана гуано, зеленоватым от желчи, на перьях лап засохла грязь. Удушливая резкая вонь отдающих рыбой и аммиаком экскрементов повисла над колонией. То был запах отчаяния, который, казалось, можно было осязать.

Печальный, подавленный, Форбэш заступил на свою первую круглосуточную вахту. Он положил в сумку два термоса — один с кофе, другой с супом, галеты, коробку масла и драгоценную банку пива, бинокль, фотоаппарат, записную книжку, карандаш, спальный мешок, пуховую фуфайку и заковылял к своему излюбленному месту на Мысе. Было три часа дня, солнце стояло как раз над островом Бофорта. Эребус едва дымился. Казалось, он тяготеет столь унылым летом. До полуночи семь пингвинов покинули свои гнезда, и четырнадцать яиц были сожраны поморниками, которые уже не летали над колонией, а молча выжидали, усевшись на скалы — облюбованные ими стратегические пункты.

Он пытался установить, какие симптомы предшествуют уходу птиц, но так ничего и не обнаружил. Пингвин медленно, неуклюже вставал с яиц, ударял по ним клювом, затем становился рядом, разглядывая их, причем в движениях его головы и шеи смутно отражалась позабытая страсть любовного дуэта. Какое-то время, казалось, пингвин дремал, нахохлившись, продолжая стоять в гнезде. Положив напоследок камни в гнездо — столь осторожно, словно они должны были стать хранителями яиц, и с такой искренней доверчивостью, — пингвин поворачивался и медленно шел к побережью. Больше он не оглядывался. Черные спины уходящих к морю пингвинов видны были далеко на севере.

В полночь, когда солнце стояло высоко в небе, Форбэш уселся поудобней, натянув до пояса спальный мешок и накинув на плечи гагачью фуфайку, и, поклевывая носом, задремал.

Он лежал где-то во льне на кургане, возвышающемся над мысом у входа в бухту Торрент. Стебли льна шумели, шуршали при порывах ветра. С высоты пятидесяти футов вниз камнем бросилась олупа и, едва коснувшись поверхности моря, вновь устремилась ввысь. В неподвижной воде возле рифа Тотара он увидел огромного ската, который медленно проплывал между двух обвешанных водорослями камней, а вокруг него вертелась

мелкая рыбешка. Солнце отражалось в глазах человека и на атласной поверхности льна, потрескивавшего, точно стрелы в колчане. Вдали, на востоке и севере, по ту сторону бухты Тасмана, — там, где Южный остров сливался с морем, — смутно виднелись голубая громада острова Дюрвиля и холмы Марлборо.

По бухте Торрент двигалось судно, с трудом пробираясь меж бурунов. Брамселя его полоскались и громко щелкали на ветру. Люди, стоявшие внизу, на желтом песке, не произносили ни звука. Они были столь же неподвижны, как каноэ, лежавшие на берегу темным симметричным овалом, точно рот, раскрытый в напряженной предсмертной гримасе.

Корабль, такой высокий и стройный, что он казался больше, чем даже сама земля, та нежная земля, где благоуханный кустарник, склонившись, касался омываемого приливами побережья, и такой непокорный со своими серыми от соли парусами и белыми портами, залитыми солнцем, вдруг остановился и, послушный отданному якорю, повернулся носом к ветру и волнению. Якорь упал в воду беззвучно. Паруса были убраны, а реи обрасоплены так, что не слышно было ни скрипа бегучего такелажа, ни визга шкивов, ни надрывных воплей команды.

Солнце на стеблях льна почти ослепило Форбэша, и он не поверил своим глазам, когда увидел перед собой ночную сову, сидящую на высохшем буром стебле льна. Сова карабкалась все выше по стеблю, который качался и сгибался под ее тяжестью, и при этом из набухших коробочек на мшистую почву и на его голые ноги падали черные жирные семена.

— Сова, — сказала сова, и Форбэш, ничего не видящий из-за золотого света, не поверил своим ушам.

— Я сова. Слишком поздно. Видишь, они все-таки пришли. Через сотню лет мое племя исчезнет отсюда, а твое будет появляться лишь изредка. И в отсутствие твоих соплеменников я буду вкушать покой, но я позабуду прежний веселый покой, царивший у очагов, и звук флейты, в полночь раздававшийся с этого холма, залитого лунным светом.

Солнце зашло за тучу, и Форбэш тотчас обрел зрение и почувствовал озноб. Поудобней усевшись на жестких камнях, он налил себе из термоса супа. Мимо, точно воры, преследуемые сторожем, пронеслись два поморника.

Ежечасно он записывал результаты наблюдений — количество птиц, бросающих гнезда, их поведение; сколько времени протека-

ет между уходом пингвинов и похищением их яиц поморниками, маршруты поморников, летающих над Мысом; как часто перерачивают яйца и устраивают «дуэты» меченые птицы в соседних колониях; число «холостых» и годовалых пингвинов, начавших прибывать с моря, и их поведение по прибытии; температуру воздуха, измеренную при помощи термометра-пращи; частоту и продолжительность периодов сна у пингвинов-«наседок».

Бодрствовать было трудно. В четыре часа утра в его лагерь забрел тощий годовалый пингвин и, растопырив лапы, трижды произнес воинственное «Ааак!» Он смахивал на задиру-школьника, кричащего: «Эй, ты!» Форбэш кинул в него камешком. Пингвин бросился бежать, но футах в двадцати остановился и с издевой крикнул ему: «Ааак!» Прозвучало это совсем как «Дураак!» Форбэш от души расхохотался. Солнце находилось далеко на юге, над Белым островом. Внезапно его охватило нестерпимое чувство страшного одиночества.

Это не было паническим страхом, тоской по утраченной любви, одиночеством затерявшегося в толпе или же похожим на экстаз одиночеством человека в ночи, состоящей только из звезд. То было тоскливое одиночество существа, оставленного его сородичами. Он чувствовал себя одновременно лисицей, волком, шакалом, гиеной, койотом, покинутым, отверженным бродягой, медленно бредущим среди лесов бессмысленности, пустынь молчания, пересохших рек отчаяния. Тошнотворное одиночество сжимало ему желудок, подступало к горлу, делало бесчувственными его члены, ожесточало сердце. Во рту был едкий привкус желчи. Неповинующимися пальцами он ощущал свои руки, ноги, пружинистые спинные мышцы, тугой брюшной пресс и усталые ляжки. Кожа, под которой лениво пульсировала кровь, была жесткой и грубой, словно кора.

«Земля такая холодная. Корни мои засыхают и отмирают», — подумал он. С отдаленной скалы вызывающе прокричал поморник.

«О трава. Теплый солнечный свет. Как же пахнет трава вечером, когда каждый листок, нагретый за день на солнце, тонно поник, свернулся?» Форбэш закрыл глаза, чтобы не видеть ослепительной белизны льда.

Трава. Дерево. Птица. Рыба. Вода. Лошадь. Олень. Кочка. Курица. Лодка. Мостовая. Магнолия. Ломонос. Вино. Сельдерей. Сорняк. Автобус. Сад. Жаба. Овца. Загар. Песок. Калужина. Плавание в волнах прибоя. Ива. Луна. Звезда. Зелень. Шорты. Шелк. Босые ноги. Река. Цветок. Дом. О тепло, о покой...

Слова эти излучали какое-то странное сияние, заставляя его каждый раз вздрагивать и, обхватив себя руками, все глубже забираться в свой уютный спальный мешок. Он опять вздрогнул, но не от холода. Ему показалось, что Барбара только что прикоснулась к его спине, что ее легкие пальцы пробежали по позвонку между лопатками, как в то мгновение, когда он всем существом впервые ощутил ее присутствие. Позднее он признался ей, что словно бы вдыхал ее в себя с каждым глотком воздуха. Но тогда, всего за сутки до того, как влезть в огромный неуклюжий самолет и улететь на юг, тогда, когда они все еще внимательно разглядывали исподтишка друг друга, она дала о себе знать едва заметным прикосновением.

Это случилось час, нет, два, три, то есть четыре часа спустя после того, как они встретились за обедом у его профессора. Она была библиотекарем, да, университетским библиотекарем.

— Боже, неужели вам это нравится? (Она была очень уж привлекательна.)

— Да, кажется. (Бровь, поднятая над краешком стакана. И почему это ей так кажется?)

— Барбара специализировалась по английской литературе, Дик. Мы решили, что, поскольку у вас так мало общего, вы заинтересуетесь друг другом.

— Ах вот как? — произнес он, шутливо подражая американской интонации. Смех. Пауза. Поднята и другая бровь. Улыбка тайком. Пластинка на проигрывателе. Негромкая, изящная, почти ароматная (так ему казалось в той убранной цветами комнате, когда он держал в руках ледяной стакан, обжигавший ему пальцы) музыка Моцарта.

— Я знаю, что вы считаете нас всех неучами, сэр, но я рад, что вы допускаете в нас хоть какой-то природный ум. (Профессор был англичанином. «Заинтересуетесь друг другом», скажет тоже!)

— Сейчас... сейчас еще довольно рано. Не возражаете, если мы куда-нибудь сходим, посидим за чашкой кофе?

Они незаметно исчезли. Ночь была теплая, влажная из-за тумана. К черту! К черту завтра! Почему я должен куда-то уезжать завтра?

Потом они пили кофе и танцевали в маленьком кафе, где слепой маори сидел за роялем и наяривал джазовые мелодии, а ударник был хилый тощий человечек с хрупким лицом, время от времени трескавшимся от удовольствия слушать собственный инструмент, а саксофонист был потным толстяком в обвислом галстуке-«бабочке». Иногда толстяк играл на двойном басы, а иногда,

забывшись, иступленно колотил по цимбалам, между тем как все вокруг тряслось, плясало, шаркало, извивалось, дергалось, содрогалось, задыхалось, усмехалось про себя, ржало и прикусывало языки в показном вакхическом экстазе, в то время как слепой маори продолжал неумолимо играть на рояле, походившем на чудовищный нарост, с которым он был связан кончиками пальцев и ногами; рояль, казалось, вертелся, подпрыгивал, вздрагивал под музыку, вливавшуюся в помещенные благодаря какому-то небесному началу, освещающему радостью тощего и толстяка вместе с барабанами, цимбалами, двойным басом, саксофоном, слепым маори, роялем, кофейными чашками, шатками столиками, грязными пепельницами, грубыми фресками, обтрепанными кисейными занавесями и сияющими лицами танцоров. Они оба едва замечали все это; пальцы Барбары вдруг коснулись спины Форбэша меж лопаток. Он встрепенулся и почувствовал, как его сердце и чресла пронизал ток (пронизал их обоих, понял он и ужаснулся), и они остановились посреди танцевальной площадки, крепко обняв друг друга. О боже, зачем это я уезжаю?

Позднее, как только он с испугом вспоминал, что придется покинуть ее, он начинал убеждать себя, что так будет лучше. Значит, они не успеют надоесть друг другу. За сутки они, пожалуй, досконально изучили бы друг друга, так что отъезд его будет как нельзя кстати. Это спасет его от скуки.

Вытянувшись в виде буквы S от самого здания аэровокзала, пассажиры стояли в очереди, упиравшейся в дверь в хвостовой части «Глобмастера». Входили попарно. Было темно; в странном свете голубоватых огней на взлетной дорожке вырисовывался силуэт самолета с ярко-оранжевым хвостом. Незадолго перед тем на взлетную полосу вырулил «Супер-Констеллейшн», похожий на серебристо-оранжевого дракона. А голубоватые огни, казалось, были его дыханием.

В суматохе, когда в гостиной аэровокзала начался предполетный инструктаж, он потерял ее из виду. Американский капитан-лейтенант, забравшись на стул, орал изо всей мочи, проводя перекличку. Потом потребовал, чтобы каждый отыскал свой надувной жилет и спасательный костюм под сидениями вдоль стенок грузового отсека самолета. Он потерял ее, потому что пришлось опрометью бежать к едва освещенным дверям, таща за собой, точно упившихся в стельку моряков, тяжелые мешки со снаряжением. Он потерял ее, едва успев бросить назад яростный взгляд,

и не сумел ни помахать ей рукой, ни подпрыгнуть, чтобы увидеть ее напоследок. Вскоре его поглотила утроба «Глобмастера».

После полуночи он выглянул из иллюминатора; увидел расплавленное золото зари и почувствовал ее холод. Потом забрался на подвесную койку. Пришлось лечь ничком, иначе бедро его упиралось в зад пассажира, лежавшего на верхнем ярусе. Грузовой отсек трясся и наполнялся ревом. Форбэш спрятал голову в свитер и обнаружил, что он пропитан ее ароматом и что он может вдыхать ее запах большими глотками, от которых становилось больно.

Заснуть было невозможно: холодные жесткие камни врезались в бока.

Колония пробуждалась. Ритм ее жизни ускорялся по мере того, как солнце поднималось ввысь. Вскрыв банку мясных консервов, Форбэш положил большие куски мяса на галеты, намазанные маслом, и принялся есть. Галеты оказались слишком сладки и ломки. Они были испечены по рецепту, составленному женщинами с факультета домоводства Новозеландского университета.

— Я был очень голоден, вот в чем дело, — пробормотал он про себя, жуя и разглядывая колонию прищуренными от солнечного блеска глазами.

Ему показалось, что здесь, в колонии, он сидел всегда, что тут его дом, сложенное из камней обиталище, его гнездо. Ежечасно, сделав заметки, он вставал и, вращая термометр, измерял температуру воздуха. В восемь часов птица № 197 в колонии № 14 вступила в драку с холостым пришлым пингвином, который не моргнув глазом принялся воровать камни, не просидев в колонии и получаса. Грабитель только что вернулся с моря и был настойчив. Из-за драки сорвались со своих гнезд еще два пинвина, а яйца 197-го выпали из гнезда и покатились по крутому склону. А внизу, точно зная наперед, что они упадут к его ногам, сидел, выжидая, поморник. Его супруга схватила в суматохе из ближайшего гнезда одно яйцо, но второе яйцо взбешенному, яростно шипящему родителю удалось отстоять.

В девять часов, когда все утихло и слышалось лишь щелканье камешков, которые вылетали из-под лап пингина в соседней колонии, углублявшего свое гнездо, с небес спустился человек в красном купальном костюме.

Он был низенький, толстый, в роговых очках на большом носу. Он был очень вежлив и заискивающе почтителен с Форбэшем.

То, что он преступил дозволенное, вряд ли является его виной. Скорее это вина чиновника из отдела сношений в Оушнвилле, который дал ему этот красный костюм. Одного человека из Оушнвилля один человек из Нью-Йорка попросил отыскать какого-нибудь человека, который отправляется на Южный полюс, чтобы он захватил с собой пузырек и положил туда снега, а потом он растает, и тогда этот пузырек можно будет отослать в Нью-Йорк, с тем чтобы тот самый человек мог полить цветы на своем балконе настоящей антарктической водой и посмотреть, погибнут они или нет. Жуть как интересный опыт!

Форбэш крепко спал и вдруг, проснувшись, на пяточке позади хижины увидел вертолет. Вскочив на ноги, он бросился туда, скользая, как на коньках, по озеру.

— Мистер Форбэш, мне кажется, это крайне интересно встретиться с человеком, который... который живет как дома в одной из этих исторических хижин. Я хочу сказать, это же фактически памятник, — сказал низенький толстый человек по имени Джо Слюнтейн. — И правда, мистер Форбэш, это же чудесно.

Искренняя хрипотца в его голосе и его скромно потупленные глаза глубоко потрясли Форбэша, который стоял на одной ноге и истрепанным носком маклака вертел дырку в гравии.

— Вы не представляете, мистер Форбэш, как бы я был вам признателен, если б вы позволили мне снять вас тут, да, да, вот так, мистер Форбэш, одну минуточку. Вот здесь, возле этой старинной тяжелой двери. Да, да. Минуточку, благодарю вас. Еще. Благодарю, мистер Форбэш, очень, очень признателен.

Не в силах разлепить веки, спрятанные под очками-консервами, Форбэш вытянул руки по швам, спрятал обросший волосами подбородок в анорак и надвинул на глаза шерстяную шапку. Он чуть было не уснул снова. «Вот проклятие. Мерещится всякая чертовщина. Незачем было вести круглосуточное наблюдение. Надо спать». Он покачнулся. Молчание.

— Гм-гм... Мистер Форбэш, как вы полагаете, нельзя ли взглянуть в вашу хижину?

Форбэш недоверчиво раскрыл глаза. Шесть человек... Эд Уайзер, еще один в оранжевом и с ними шестеро в одинаковых американских теплых тяжелых комбинезонах. Все на одно лицо, они стояли, расставя ноги, с длинными обезьяньими руками, фотоаппаратами на шее. Кулаки их были засунуты в толстые рукавицы, связанные тесемкой; меховые капюшоны их были бесстрашно откинута за плечи. Они смахивали на силуэты из диаграммы

роста населения, поэтому Форбэш стал искать в конце строки половинку человека и весьма удивился, не обнаружив ее.

— Привет это наверно Дик Форбэш. — Один из людей-обезьян шагнул вперед и протянул свою обезьянью лапу. — Надеюсь вы извините нас за это вторжение в ваши владения. Я Джон Смит Крэнфорд-младший лейтенант службы информации со станции Мак-Мёрдо и я прихватил с собой этих людей, чтобы взглянуть на крошек-пингвинов и еще нам хотелось бы посмотреть вашу хижину, вы наверно хорошо устроились мистер Форбэш не возражаете если мы пройдемся господа это мистер Дик Форбэш мистер Форбэш я бы хотел представить вам Ивена Дженкинса из «Гаррисберг Инкуайрер» мистер Форбэш Дэвид Голдуэйт из «Сан-Франциско пост» и «Стар» мистер Форбэш судья Кокефут из графства Натан штат Массачусетс мистер Форбэш Ачария Прабхавананда из «Джорнэл оф Индия» мистер Форбэш Джо Слюнтейн из «Оушнвилль Ситизен-джорнэл» мистер Форбэш...

— Мы уже знакомы, — скромно заметил Джо Слюнтейн и пожал его подрагивающую руку своей пухлой, мягкой ручкой.

— Пожалуй Дик вы-то нам и покажете свое старое славное жилище...

— О мистер Форбэш мы были б так рады так рады, — вмешался Джо Слюнтейн, и Форбэш почувствовал, что на губах его застыла приветственная улыбка, а шея занемела от бесчисленных поклонов.

— Заходите, господа, заходите. Жилище не слишком просторное, но я тут один. — Форбэшу хотелось вместо этого освистать всю шатию и смыться. Спокойно, Форбэш, спокойно. Боже, полифоническая музыкальная машина «Пингвин-мажор»... да и посуда грязная...

Он вошел первым. Его посетители, наслушавшись рассказов о том, что в Антарктике нужно идти след в след за проводником, а не то собьешься с пути и упадешь в трещину, молча шли цепочкой за Форбэшем, осторожно ступая по сугробам перед хижинкой.

Он показал гостям печку Шеклтона («А здорово мистер Форбэш так и чувствуешь запах подгорающего тюленьего жира»), кровать Шеклтона («Подумать только сколько долгих часов провел здесь в одиночестве этот великий человек мистер Форбэш как тут интересно»), сани Шеклтона («Я поистине восхищаюсь англичанами мистер Форбэш они и вправду были великими людьми мистер Форбэш подумать только что они вынесли...»), дырки в старых грязных носках Шеклтона («Видно пришлось ему тут мистер Форбэш походить по снегу немало»), шеклтоновские

бутылки с соусом и жестянки со сливовым пудингом («Подумать только у них в те времена были тут даже маринованные грибы тут голодным не останешься мистер Форбэш даже хрен есть»)

— А для чего все эти бутылки и колбы, мистер Форбэш?

— Грустная история, — пробормотал Форбэш.

— Расскажите же, расскажите! — почти визжал Джо Слюнтейн. Глаза его блестели, как две изюминки.

— Трагическая страница полярной истории, — произнес растраганно Форбэш, испытывая чувство вины.

Ачария Прабхавананда осторожно шагнул вперед, выглядывая из-под мехового капюшона, и почтительно протянул смуглую руку к банке заплесневелых маринованных огурцов.

— Что-что-что? Что он там говорит? — спросил пожилой судья Коксфут, подшаркав поближе, а Ивен Дженкинс поднял непроходимые брови.

— Это... это... друзья мои, последнее трагическое предприятие славного капитана Скотта и его великого друга доктора Уилсона, — Форбэш глубоко вздохнул от смущения, которое было принято слушателями за глубокое волнение. — Прежде чем отправиться в свое последнее путешествие, два этих великих исследователя работали над созданием бутылочного ксилофона.

— Бутылочного ксилофона?

— Ну да, бутылочного. Музыка была для них единственной отрадой.

— Вы хотите сказать... эти старые склянки и иные вещи... должны были превратиться в бутылочный ксилофон?

— Совершенно верно. Эта трогательная коллекция старой посуды должна была превратиться в первый в Антарктике туземный музыкальный инструмент. У них были большие планы...

— Мне кажется, это самая грустная история, какую я только слышал, — сказал Джо Слюнтейн.

— Очень грустная, — подтвердил Форбэш. — Они погибли, не успев закончить начатое дело.

— Мне казалось, их хижина была на мысе Эванс, — вмешался Ивен Дженкинс.

— О... э-э... они переехали... для работы им нужно было спокойное место. Вы же сами понимаете, мистер Дженкинс, как хорошо работать в таких условиях. Я хочу сказать, досюда совсем недалеко. И потом, была весна, они могли пройти по припаю. В общем, они хотели сделать сюрприз своим спутникам...

— Мне кажется, это самая грустная история, какую я только слышал, — повторил Джо Слюнтейн.

— Да... А теперь, господа, не распишетесь ли вы в книге посетителей? Она здесь, на плите. Я уверен, что ваш пилот, мистер Уайзер, не хочет, чтобы ваш вертолет застыл, и потом, снаружи тоже есть кое-что, достойное вашего внимания. Собачья конура, стойла, обломки старого автомобиля, сиденье от унитаза, оно еще сохранилось. Минутку, у меня где-то был огрызок карандаша. Ах, вот он, нам нужны подписи вас всех, разумеется, вы хотели бы расписаться первым, судья, не так ли. Да и погода, похоже, скоро испортится... по-моему.

Никто не сдвинулся с места. Пялят на меня глаза, и только, подумал Форбэш. Что у меня не в порядке?

— Что ж, пошли, Крэнфорд. Где же эта книга посетителей? — проговорил судья и, шаркая ногами, двинулся к плите.

— Это самый замечательный день в моей жизни, — признался Форбэшу Джо Слюнтейн, когда все собрались вокруг плиты. — Самый. Вы знаете, я мечтал попасть сюда, когда мне было всего девять лет. Каких-то девять лет! Я прочитал все книги об Антарктике. Все-все. Но все равно они не передают подлинную атмосферу здешних мест. Книгам это просто не под силу. Я хочу сказать, таких вот трогательных историй, вроде той, какую вы нам только что рассказали, там не найдешь. Знаете, мистер Форбэш, мне бы хотелось пожить тут у вас. Ей-богу, это было бы самое крупное событие в моей жизни, но с меня хватит, пожалуй, даже и того, что я с вами познакомился, и когда вернусь домой, я всем расскажу о вашей работе, как вы тут живете в историческом доме и все свое время отдаете пингвинам. По-моему, это здорово. Нет, в самом деле.

Форбэш был в изнеможении. Наконец-то он выпроводил своих гостей из хижины и повел их по озеру (они по-прежнему двигались цепочкой) к колонии пингвинов. Судья Коксфут семь раз упал на лед, и лейтенанту Джону Смиту Крэнфорду-младшему столько же раз пришлось поднимать его и отряхивать от снега. Только Ивен Дженкинс уверенным шагом вразвалку шел за Форбэшем, который, приближаясь к колонии, подумал о том, какой переполох вызовет тут появление непрошенных гостей, и возненавидел их. И сразу замкнулся.

— Ах, какая славная птичка. Можно, я ее возьму?

— Да.

— Голыми руками? Мне бы хотелось потрогать ее.

— Почему бы нет?

Пингвин так сильно ущипнул Ивена Дженкинса, что содрал у него на тыльной стороне ладони всю кожу. У Форбэша сразу

поднялось настроение, когда он увидел, что вся куртка Дженкинса залита зеленоватыми испражнениями.

Когда Дэвид Голдуэйт заинтересовался, так же ли приветливы и поморники, Форбэш предложил ему подняться на небольшой холм в северной части колонии, где живет отличная чета поморников, что Дэвид Голдуэйт и сделал... Вскоре он ничком лежал на земле, закрыв голову руками, спасаясь от поморников, которые с воплями пикировали на него и били его по голове своими жесткими костистыми крыльями.

«У них яйцо, в гнезде у них, должно быть, яйцо. А ну, еще! Еще! Ах вы, красавцы мои!» — мысленно восклицал Форбэш, между тем как Дэвид Голдуэйт катался по земле и вопил: «Помогите!» Форбэшу представилось, как он посылает птичьи полчища против вражеских армий. Он был всемогущим властелином птиц, разбивающих наголову захватчиков. Через некоторое время он пришел на помощь врагу, подняв бамбуковый маркированный шест. Теперь поморники вместо Голдуэйта налетали на флаг, висевший на шесте. Трясущийся от страха Голдуэйт был спасен.

— Прошу извинения. Обычно они довольно спокойны, — не без злорадства произнес Форбэш и нетерпеливо стал ждать, пока остальные гости перестанут щелкать затворами аппаратов, разбрасывать лампочки-«вспышки», коробки из-под пленки и мокрую бумагу от поляроидных камер по всей колонии пингвинов.

Лишь приведя своих посетителей назад к хижине, он обнаружил, что среди них нет Джо Слюнтейна. Джо точно сквозь землю провалился. Форбэш оглянулся, но в колонии Джо Слюнтейна, похоже, не было. Он пересчитал своих подопечных. Один, два, три, четыре, пять. А было шесть?

— По-моему, мы кого-то потеряли.

Джон Смит Крэнфорд пересчитал народ. Эл Уайзер пересчитал народ. У обоих тоже получилось пять человек.

— А где Джо Слюнтейн? — спросил судья Коксфут и всех пересчитал. У него получилось семь, пришлось считать еще раз. Все осуждающе глядели на Форбэша.

— Что вы сделали с мистером Слюнтейном? — спросил Дженкинс.

Форбэш, извинившись, устало побрел назад в колонию. За каменной глыбой он обнаружил Джо Слюнтейна с пингином на коленях. С ног до головы измазанный желто-зелеными испражнениями, Джо пытался напаять на пингвина специально шитый красный купальник, тоже запачканный экскрементами. Из раз-

битой от удара ластой губы текла кровь, очки съехали набок. Из красного носа что-то капало.

— Что вы тут делаете? — спросил Форбэш.

— Надеваю на пингвина купальный костюм.

— На кой это вам черт?

— Меня просил об этом один чиновник отдела сношений из Оушнвилля, — продолжал Джо Слюнтейн.

— На кой ляд?

— Каждый год мы устраиваем в Оушнвилле большой карнавал, и на этом карнавале бывает человек в красном купальном костюме — это как бы символ или что-то вроде, и этот человек (ой!), этот чиновник (да тише ты!..), этот человек решил, что неплохо бы заполучить фотографию (ой!), фотографию (черт возьми! он всего меня измазал этой гадостью!), фотографию настоящего пингвинчика из Антарктики в этом самом красном купальнике, она бы пригодилась на карнавале. То есть, я хочу сказать, это было бы мило, верно, (ой!) да?

— Идиот несчастный! — произнес Форбэш.

— Простите, что вы сказали? — переспросил Джо Слюнтейн.

— Я сказал, идиот несчастный! Сейчас же опусти птицу на землю. Отпусти ее. Боже, какой же ты идиот! Где ты его взял? Что случилось с его яйцами? Боже милостивый, ты еще двух птиц убил. Как можно быть таким тупым, бестолковым? Убирайся! Чтоб духу твоего тут не было! Они все подышают. Подышают... из-за твоего дурацкого купальника. Ты еще двоих угробил!

— Виноват, — сказал Джо Слюнтейн, вставая. По его штанам текло гуано, оно капало с красного купальника, зажатого в вялой жирной руке. Пингвин, спотыкаясь, в ужасе бросился к морю, сопровождаемый ударами клювов и ласт других пингвинов, который попадался на пути.

— Пошел вон. Иди к хижине. Там тебя ждут.

— Виноват... Я чувствую себя таким идиотом... То есть, я хочу сказать, очень рад, что побывал тут, мистер Форбэш... И вот я все испортил... какая глупость, но я не знал, что делать... Виноват, — бормотал Джо Слюнтейн.

Ему оставили почту. На этот раз он не забыл отправить и собственные письма. Иван Дженкинс подарил ему вырезку своей первой статьи, напечатанной в «Гаррисберг Инкуайрер»: «Я обошел вокруг света за каких-то пятнадцать секунд и испытал на себе самые разные температуры — от минус 30 до минус 80 по Фаренгейту — какие бывают на Южном полюсе!» И: «Конечно,

в наши дни жить в Антарктике легко, правда, и мы испытываем кое-какие трудности.»

Барбара прислала скопированное ее аккуратным почерком стихотворение Маяковского, написанное, по ее словам, накануне самоубийства:

### I

Любит? Не любит? Я руки ломаю  
и пальцы  
разбрасываю разломавши  
так рвут загадав и пускают  
по маю  
венчики встречных ромашек...  
надеюсь верую вовеки не придет  
ко мне позорное благоразумие

### II

Уже второй  
должно быть ты легла  
А может быть  
и у тебя такое...

### III

Море уходит вспать  
Море уходит спать  
Как говорят инцидент исперчен  
любовная лодка разбилась о быт  
С тобой мы в расчете  
И не к чему пережень  
взаимных болей бед и обид

### IV

Уже второй должно быть ты легла  
В ночи Млечпуть серебряной Окою...  
Ты посмотри какая в мире тишь  
Ночь обложила небо звездной данью  
в такие вот часы встаешь и говоришь  
векам истории и мирозданью.

Она приписала: «Пусть никогда не случится это с тобой, Форбэш. Это слишком прекрасно, трагично, безнадежно. Не будь таким никогда».

Он почувствовал, что сама непрочность их связи, как это ни парадоксально, как бы цементирует ее, эту связь.

Когда он лег спать, было далеко за полдень, небо на юге начинало темнеть, лед стал каким-то серым и мрачным, и шапка дыма над Эрбусом густым столбом поднималась ввысь.



ФОРБЭШ ЗА ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ ЗНАЛ О ПРИБЛИЖЕНИИ бурана. Проснувшись наутро в шесть часов, он выпел на двор и почувствовал, как в лицо ему пахнуло теплом. У него весь день было такое ощущение, словно весь ветер, что будет дуть три дня кряду, сконцентрировался как раз над Мысом, что это — монополитная сила, достойная уважения. Где-то западнее, в центре моря Росса, хозяйничал могучий циклон. Форбэш нежился под его мягким ровным дыханием, зная, что вскоре ветер попытается его уничтожить. По какой-то непонятной причине он был уверен, что скоро задует пурга. Эта уверенность возникла у него потому, что он инстинктивно ощущал безграничную мощь сил, сплотившихся против него. Об этом ему говорили поморники, парившие в воздушных потоках, кружась над пиками и ущельями Мыса. Об этом говорили ему пингины, нахохлившиеся безучастно.

Занимаясь своими утренними делами, он наблюдал, как изменяется день; как делает он свои приготовления. Увлеченный подсчетом или же наблюдениями, Форбэш время от времени, опомнившись, замечал, что произошла какая-то едва заметная перемена в расстановке сил бурана, и со страхом думал, что не заметил какого-то данного ему знака, не увидел, что его провели. Он выпрямлялся и стоял неподвижно, лишь поводя глазами в надежде захватить буран врасплох и, разгадав его планы, подорвать его мощь. Но всякий раз буран успевал опередить его. Форбэшу казалось, что он находится в каком-то огромном помещении, где царит кромешная тьма, где мелькают не то птицы, не то летучие мыши, а над полом скользят какие-то странные черные тени, незаметно ступая темень, издавая звуки, неотличимые от звуков тишины, скребущих по напряженным барабанным перепонкам, и в то же время явственно говорящие о своем недобром присутствии. Форбэшу хотелось предупредить пингинов, сказать им слова утешения, приободрить их, призвать не поддаваться мощи бурана, оставаться на своих постах, драться изо всех сил, держаться за свои гнезда, хотя они и без того гибли, отчаянно и совсем по-донкихотски утверждая жизнь. «Форбэш ждет, что каждый пингвин исполнит свой долг».

Ему попался пингвин, которого можно было взять в руки. Он был единственным, кто не проявлял никаких признаков беспокойства, когда Форбэш ходил по колонии и подсчитывал яйца, и когда он приподнял птицу с яиц носком маклака, пингвин не шипел, не клевался и не бил ластами. Форбэш пришел, взял птицу

на колени и, прижав к себе, стал гладить ее по шее и груди. Пингвин вытянул шею, глотнул и взъерошил свои густые жесткие перья. Форбэш вполголоса говорил ему:

— Ты должен быть сильным, пингвин, да, сильным. Главное — не убегать. Пускай тебя заносит снегом, ничего страшного не случится. Не беспокойся, я приду и откопаю тебя. Ах ты, бедный, несчастный пингвин...

Он с ужасом увидел, что с моря возвращается первая самка. Внешне она ничем не отличалась от холостых птиц, прибывавших в колонию, и Форбэш узнал ее лишь по тому, как целеустремленно карабкалась она по склону и продвигалась среди остальных птиц к своему супругу, к своему гнезду.

— Слава богу, он на месте, — вырвалось у Форбэша, находившегося в каких-то десяти ярдах от гнезда.

Самка была упитанной и чистенькой и резко отличалась от своего отощавшего, грязного супруга. Приблизившись на несколько ярдов, она издала громкий приветственный клич; самец ответил, выжидающе поднявшись в гнезде. Обе птицы в бурном любовном дуэте склонились над яйцами, извиваясь, выгибая шею, восторженно кланяясь друг другу. Скоро ли вылупятся из яиц птенцы? Скоро ли слепой птенец — один живот да непомерно большой клюв — начнет свою долгую борьбу, с тем чтобы вырваться из плена, без усталости колотя по скорлупе? Это будет длиться три дня, и лишь тогда он увидит белый свет. Форбэш подождал, пока пингвинья чета поменялась местами на яйцах, а самец напоследок принялся за работу — особенно утомительную после долгого поста: он начал таскать камни для гнезда.

Потом Форбэш направился к углублению, где первая самка-поморник снесла яйца. Он держал над головой шест, отбиваясь от воющих птиц, и заметил пестрые яйца, только когда едва не наступил на них. Лежали они кое-как: самка-поморник охотилась, когда вздумается, и лишь за несколько часов до кладки отыскивала углубление, куда и опрастывала свое бремя без особых церемоний, подобно всем свирепым и самонадеянным существам. Но перед приближающимся бураном Форбэш почему-то не желал зла даже этим птицам.

Он знал, что надвигающийся ветер будет не таким, какой любит человек, потому что может померяться с ним силами, — ветер, когда земля, деревья и трава на его стороне, — влажный соленый ветер с моря, который тоже нужно одолевать, но который как-то близок и понятен. Надвигающийся же ветер попытается уничтожить его, выражая свою враждебность каждым

звучком и каждым порывом, будет злобствовать, свистеть без передышки, беспощадно. По мере того как день склонялся к вечеру, Форбэш ощущал, что его все более охватывает малодушие, а сердце все больше черствеет и ожесточается.

Он все ждал от ветра какого-то знака, сообщения о воинственных намерениях, но подобного великодушного поступка так и не последовало. В конце дня он вскарабкался на холм Флашток — самую высокую точку Мыса. Никогда не ощущал он себя в такой степени связанным. Голые лавовые скалы четко обозначали границу, которую нельзя преступить: по одну сторону, на нижней части склонов Эребуса, за озерами, лежал снег, по другую сторону тянулся припай шириной в две мили со своими ледяными утесами; от бухты Черный ход, огибая Мыс, он уходил на север, к бухте Подкова.

«Так вот где оно, поле сражения, — подумал он. — Тут у нас две квадратных мили земли, вернее, камней. Ветер подует как раз вдоль пролива, почти с юга, и как только минует утес Минна острова, ничто уже не сможет сдержать его напора. Пингвины должны уцелеть, ведь они гнездятся с подветренной стороны склона. А поморники достаточно хитры, чтобы высовываться из-за гребней скал. Так что стоит ли из-за них тревожиться? Не знаю. Но, черт возьми, все мы живые существа. Я тоже существо. В эту минуту я ничем от них не отличаюсь. Правда, у меня есть мозг, стереоскопическое зрение, длинные ноги и ловкие руки, но они гораздо умнее меня, потому что у них есть опыт, приобретавшийся миллионы лет! Как же я мал! Меньше пингвинов, неповоротливее поморников. Я незнаком с природой, у меня нет природных защитных рефлексов, которые сохранили бы меня во всем этом хаосе. Все, что у меня есть, — это старый барак, притянутый к земле обрывками проволоки. У него даже нет фундамента, потому что тут вечная мерзлота. Вот он и сидит себе в ложбине, выжидает и надеется. Что ж, пусть выжидает вместе со мной. И с тобой, проклятый старый курилка. Не задирай нос, не знавайся. У нас есть горячая кровь, руки и ноги, зрение и обоняние, мы одолеем тебя. И когда огонь в твоём чреве уже потухнет, наше племя все еще будет гореть».

Внезапно его больно хлестнул по лицу порыв студеного северного ветра. Он ударил его точно и с таким расчетом, чтобы ранить побольнее. Форбэш сжался в комок, ноздри его дрожали. Я существо. Я всего лишь живое существо. Господи боже, дай мне ясность взора и крепость членов, чтобы я мог сразиться с ним».

Г. Биллинг

На северных склонах Эребуса, в пятнадцати милях отсюда, намело огромный снежный карниз. Казалось, протяни руку — и прикоснешься к нему. Высоко в небе над ним аркой выгнулись похожие на конские хвосты перистые облака. Это к ветру. На фоне пролива четко вырисовывались западные цепи гор. На юге то возникали, то по воле миража исчезали острова: это холодный прозрачный воздух стекал вниз по глетчерам и жидким покрывалом опускался на припай. Верхний край этого слоя, соприкасавшийся с более теплым воздухом, служил как бы естественной призмой, в которой отражались и искажались изображения островов, глетчеров и прибрежных скал, то вздымавшиеся вверх, то раздувавшиеся вширь — совсем как в кривом зеркале.

Форбэш заметил, что к полуночи, в течение каких-нибудь двух часов, небо утратило свой золотистый блеск, эту весеннюю пластичность повисшего над горизонтом солнца, и весь пейзаж приобрел более четкие и холодные пропорции, окрасившись всего лишь в три цвета: черный, белый и синий. Поставленная Форбэшем табличка с надписью «Полярная ферма «Пингвин» качалась и гнулась на ветру. «Она довольно прочно укреплена. Сорвать ее не должно». Дверца шеклтоновской метеобудки возле хижины начала легонько постукивать, и этот стук долетел до него через застывшее озеро. Бамбуковая радиомачта оставалась неподвижной, только дрожала.

Он снова стал смотреть на юг. Стоял он по-прежнему неподвижно, лишь раздувал ноздри, как бы принюхиваясь.

Холодный воздух, запрудивший пролив, начал просачиваться к северу между островами бухты Эребус, языком глетчера, спускавшимся с Эребуса стеной белых бастионов, и мысом Эванс — вонзившейся в море грядой с рваными, остроконечными вершинами. В ледяных складках позади мыса отражались яркие лучи солнца, обжигавшие глаза; трещины в них представлялись такими широкими, глубокими и темными, что, казалось, и сам припай усеян рядами остроконечных зубьев.

Форбэш наблюдал приближение ветра за несколько часов до его прихода. Вот исчез утес Минна. Только сейчас был и вдруг исчез... Ветер приближался. Минна, находившийся в семидесяти милях, оказался погребенным под тучей снега. Потом настал черед Черного острова, что в пятидесяти милях. Ветер все приближался. Форбэш обнаружит его приход, лишь когда тот обхватит его ноги и, все крепчая, словно океанская зыбь, коснется его щиколоток и пойдет все дальше и дальше на север, уверенно, неторопливо, зная свою силу. Сперва он будет лизать голенища

маклаков, трепать мешковатые штанины и, наконец, подобно холодному огню, проникнет под туго затянутые полы анорака.

Ведь на пляже, среди песчаных дюн, поросших горячей травой, ты бы увидел маленькие песчаные смерчи, вихри песчинок, несомых ветром. Ты бы увидел их ничтожность и в то же время почувствовал их уколы и ощутил их силу, скрытую силу ветра, который взметнул ввысь эти песчинки. А теперь взгляни, в полусотне миль отсюда буран похож на вихрь песчинок, а ты все-таки не ощущаешь его мощи. Но если бы ты остался тут, на холме, и понаблюдал подольше, то осознал бы ужасную, нечеловеческую силу ветра и снега. Он не просто вонзился бы мне в лицо... он бы меня уничтожил... меня, мое Я... и я превратился бы в песчинку, частицу вихря, брошенную среди лавовых глыб, несомую через унылые голые склоны дымящейся громады.

Он уже не мог различить ни холма Обсервейшн, ни горы Дисковери, не видел Черного и Белого островов и смутных, напоминающих какого-то зверя очертаний Бурого острова. Не видел уже Замковую скалу, скалу Форда. Уже не было дальних склонов глетчера Эребус.

«Пора уходить, забивать двери и окна. Надо готовиться к бурану, нужно отсидеться. Закрепить радиомачту. Запереть ставни с южной стороны. Но как запереть наружную дверь?»

Он увидел, как мощная масса ветра проникла в бухту Черный ход, а потом в бухту Прибытия, находящуюся почти под ним, куда в свое время приплыл Шеклтон на храбром крохотном «Нимвроде» (имя великого охотника как нельзя лучше подходило этому суденышку) и с помощью стрелы и талей выгрузил на берег все свое снаряжение и пожитки. Форбэш увидел, как ветер проник в бухту — в виде ручейков и струек снега, поднявшихся всего на несколько дюймов над льдом. На синеве трепетали белые знамена — то неслись передовые когорты бурана.

Форбэш по-прежнему не сходил с места, хотя буран карабкался все выше, подбираясь к нему по склону. Вот уже снежная пыль взметнулась у его ног и засыпала его сверху донизу. Однако солнце все еще ярко светило. Внезапно на него налетел ветер, начал бичом хлестать его по лицу, ударил прозрачным ледяным жезлом, да так, что у него перекосило челюсти, разодрало губы и веки, пронзило все клетки его мозга, точно стрела, поразившая Гарольда в битве при Гастингсе, когда Вильгельм приказал своим лучникам стрелять вверх, чтобы убивать саксов отвесным смертоносным дождем. Ощущая всю силу каждой острой льдинки, Форбэш, отвернувшись, наклонил голову и прикоснулся к ледяной

маске, прилипшей к теплой коже лица. Ослепший и оглохший, лишенный осязания и обоняния, он бросился бежать.

Это было еще только началом. Буран только оскалил свои зубы. Форбэш, спотыкаясь, мчался вниз по склону, через озеро. Он то падал, то полз к своему жилью, вконец потеряв голову и повинувшись одному лишь чутью. Он еще успел разглядеть на юге курящуюся вершину горы и солнце над полосой бурана, потом снежный вихрь поглотил Форбэша.

...Когда, наконец, он очутился за наружной дверью и, задыхаясь, прислонился к стене, ощущая, как с лица его кусками отваливается ледяная корка и вода капает на анорак, а потом принялся собирать снег — запас воды, — закреплять антенну и запираять на окнах ставни, ему казалось, что все это происходит в каком-то мучительном, кошмарном сне. Он взглянул на часы. Глаза болели, и в сумерках он едва разглядел циферблат.

Прошел целый час с той минуты, как он побегал с холма и то ползком, то на четвереньках стал пробираться к хижине, как, шатаясь, добрался до наветренной стены и затворил ставни, с трудом поставив на место защелки, словно на него навалилась вся тяжесть бурана, который только что задул. Ему понадобился целый час на то, чтобы, борясь с ветром, согнувшись в три погибели, ползти вперед и под конец одолеть ветер, еще не успевший доказать всей своей силы. После этого он вытащил из хижины ящик, схватил лопату и чуть не бегом, прячась за кипы прессованного старого сена, отправился по тропе к сугробу, чтобы наполнить ящик снегом. Но едва он успевал бросить лопату снега, как снег уносило ветром, большие же снежные глыбы вырывались из рук и летели, словно осенние листья. Пока он прыгал, уминая в ящике снег, лопата, танцуя, взлетела в воздух и он едва успел поймать ее. Да он и сам ощущал себя лишь пылинкой в этом вихре. Схватив лопату, он несколько минут не мог выпрямиться; наконец, он ползком вернулся к ящику, наполнил его доверху и паощуя, вслепую, поволол его назад, в укрытие. Когда же он захотел прибавить булыжников в груды камней, служивших основанием мачты, то они вырвались у него из рук и покатились. Ничего не видя, он прислонился к двери; он тяжело дышал, всасывая все еще теплый воздух судорожными болезненными глотками; потом, немного придя в себя, принялся длинными гвоздями приколачивать планки к двери для защиты от ветра. Но снег, мелкий, как мука, проникал сквозь малейшую щель, так что при каждом порыве ветра, с шипением проникавшем внутрь, груды снега в коридоре росла.

Форбэш втащил ящик со снегом внутрь помещения. «Это все, с чем мне придется выдерживать осаду».

Судя по часам, было семь вечера 19 декабря. Теперь уж ничто в мире не останется прежним, таким, как было. Стоя посередине хижины, перед холодной железной печкой, он внезапно осознал, что произошло некое важное событие, из тех, что оставляют в жизни человека след, обозначающий конец какой-то эры и начало чего-то нового, неизведанного, представляющий собой как бы отметку на ленте его жизни, подобно отметке самописца на ленте барографа или иного чувствительного инструмента, которые автоматически регистрируют количество солнечных часов, землетрясения или колебания магнитного поля. Поглядев на эту ленту, он много лет спустя сможет проследить историю своей жизни.

Мир переменялся до неузнаваемости; долгие золотые вечера исчезли в гуле, визге, реве, грохоте, ударах бурана, который тряс дом изо всех сил, так что кроме шума борьбы его с ветром не было слышно ничего. Форбэш постоял ежась, потом начал прыгать. Ничего не слышно. Пощелкал пальцами, похлопал в ладоши. Ни звука. Он заорал: «Дуй же, сволочь, дуй!» Он услышал едва различимый звук собственного голоса, и его охватил какой-то подъем, жутковатое возбуждение. Теперь он дрожал от ужаса, от желания скрыться, как бы запереться изнутри себя. Ему казалось, что он в состоянии лишь неподвижно стоять посреди комнаты и ждать; что он не в состоянии что-либо сделать, что всякая попытка самосохранения, продления жизни бессмысленна перед лицом столь грозного и могучего врага. Он дрожал от чувства одиночества. То не было признаком слабости, трусости, или ничтожества, то была тоска, обжигавшая внутренности, подступившая к горлу, и он задыхался, обливаясь потом, обескровленный, холодный, как лед.

«Боже, я стал жертвой, жертвой, и ничем более... Я беспомощен, безоружен. У меня одна лишь надежда, а что в ней проку?»

Здание тряслось и гремело под ударами все более свирепшего ветра. Снег с шипеньем, точно струя пара, набрасывался на южную стену дома. Форбэш, спотыкаясь, подошел к мусорному ведру и опустился на колени. Казалось, все нутро у него вывернуто наизнанку. Он задыхался, хватался руками за грудь; тело его сотрясалось в конвульсиях всякий раз, как дом содрогался под ударом ветра. Откинувшись назад, он закрыл руками лицо, покрытое испариной, изнеможенный, едва живой; сердце билось так редко, что он его почти не слышал. Перед взором его проплы-

вало все доброе и яркое, что было некогда у него в жизни, — нежность, желания, человеческое тепло, золото солища и спокойная зелень листвы, женская ласка и мужское братство, сон и вдохновение музыки. Вконец ослабев, он успокоился, словно грохот ветра всегда был неотъемлемой частью его существования, и больше уж не вздрагивал от ударов бурана.

«Видно, все дело в адреналине,» — подумал он. Глаза его были все еще закрыты, но он уже знал, что может открыть их и посмотреть в лицо миру. В хижине было темно: окна с южной стороны были закрыты ставнями, небо же обложило кругом, и в воздухе кружились тучи снежной пыли. Он хотел было зажечь керосиновую лампу, но передумал: несмотря на то, что желтоватое пламя как-то рассеяло бы одиночество, топливо надо беречь.

«Мне нужна пища. Я одинок. Все это очевидно. Меня это не должно волновать. Я давно знал об этом. Симптомы страха порождаются реакциями, происходящими в железах. Пища рассеет их. В любом случае мне нечего бояться. Если даже хижину снесет, я найду себе убежище. Заберусь в спальный мешок и пережду буран наподобие пингвинов. Мне незачем беспокоиться. У меня есть топливо, вода, пища, а дом этот привязан трехдюймовыми стальными тросами. Простоял же он полсотни лет, выдержит и этот буран. В конце концов, это же обыкновенный ветер. Наберись терпения, плыви в потоке жизни, ветра, чувствуй себя в нем, как рыба в быстрине, живи жизнью своей среды, пойми ее, и ты приспособишься, попадешь в струю, и она понесет тебя туда, куда захочешь, а не утащит прочь».

Он начал стаскивать с себя ветронепроницаемую верхнюю одежду. В помещении холодно не было: южные вихри всегда сопровождают подъем температуры воздуха, так что обогревателям легко было нагреть такой воздух. Он зажег примус и налил воды, чтобы прополоскать рот, уничтожить тошнотворный вкус страха во рту. Сквозь северные окна в серой мгле он не видел ничего, кроме снежной пыли. Она кружилась, плясала с подветренной стороны дома и ложилась наземь, чтобы превратиться в глубокие сугробы. Он думал о пингвинах и поморниках и пытался представить, как они сидят, съезжившись, спиной к ветру, а в это время с подветренной стороны их гнезд возникают снежные наносы, а за ними другие. Снег метет и метет, образуется волнистая равнина, из которой тут и там торчат шеи и черные плечи пингвинов; под конец снег заносит и их поднятые вверх клювы; остается гладкая, безжизненная поверхность.

Форбэш сварил себе похлебку из мясных кубиков, приправленную приностями, извлеченными из аварийного пайка. Похлебка была чересчур горячей, он обжигался, но все равно хлебал с наслаждением, потел, положив локти на тиковый стол, некогда служивший на «Нимвроде» дверью. Слово пингвин, страшась поморника, парящего над ним, Форбэш поглядывал из окна на небо всякий раз, как буран снова хватал хижину в свои лапы.

«Теперь-то я пришел в себя, — думал он. — Знаю, что мне нужно делать. Я сумею выйти из этого положения. Мне плевать, сколько будет свирепствовать этот проклятый ураган. Я одолею его. Он мне ничего не сможет сделать. Я вытерплю. Ведь я человек. Я живой, а ветер мертв — это бесцельно движущийся куда-то воздух. Верх будет мой. Я вынесу. Но почему мне было так нехорошо? Ах да, от голода. Ведь я живое существо. Я все преодолею».

Он приготовил себе какао — такое горячее и густое от сгущенного молока, что его едва стерпел желудок, привыкший к сухомыятке. Ему снова сделалось плохо, но на этот раз он вскочил на ноги и, провальсировав с ящиком в руках, поставил его на пол, чтобы встать на него и уцепиться за стропило. Он семнадцать раз подтянулся, потом лег на пол и выжался двадцать пять раз.

«Я ему задам, я ему задам. Этот проклятый буран не одолеет меня». Ухватившись своими худыми мозолистыми руками за балку, больно резавшую кожу, он почувствовал, как вздрагивает древесина. Он как бы ощутил себя заодно с ветром. Сочувствуя его мучительным усилиям, он твердил:

— Черт с тобой, ветер. Дуй себе на здоровье.

В полночь в хижине стало совсем темно, но Форбэш даже не подумал зажечь лампу. Он с наслаждением прислушивался к ночному рыку, совсем как в детстве, в Крайстчерче, когда он лежал в постели, а за окном выли буйные южные ветры, носившиеся по Кентерберийской степи, раскачивая и стигая деревья, росшие вокруг дома. Темно. Впервые за много недель ему не нужно натягивать капюшон спального мешка на глаза. Он поудобнее устроился в теплом гагачьем спальнике и вспомнил, как мальчишкой он всегда удивлялся таинству сна, забвения, когда, бывало, вздрагивал при каждом новом порыве ветра и все шире таращил глаза.

Наутро все было по-прежнему. С шипением неслась метель, налетая на южную стену дома; строение все так же содрогалось от ударов бури. В коридоре между наружной и внутренней дверями намело сугроб высотой в два фута. Убирать снег было некуда:

не выходить же наружу. Снегу все прибывало; он начал проникать даже сквозь внутренние двери и инеем ложиться на полу хижины. В течение дня ветер как бы выровнялся. Казалось, ночью ворвались лишь первые его струи, а теперь пришел основной поток; и вот он бушует вокруг хижины, заглушая своим ревом малейший домашний уютный звук, который утешил бы и успокоил человека. Но в реве этом не было ничего, что предвещало бы усиление мощи бурана, и Форбэш снова уснул, по-прежнему охваченный ощущением чуда; уснул он на этот раз мгновенно, потому что шум ветра стал привычной частью его существования.

Снегом замело озеро, глубокие сугробы лежали в ложбинах и выемках Мыса. Тюлениха с берега Доступности увела своего детеныша в море, там им обоим было теплее и безопаснее. Обняв одной ластой свое серое чадо, она высунула из воды лишь глаза и поздри и размеренно, медленно дышала, всякий раз втягивая воздух с легким вздохом, который заглушали шум и гул ветра, несшегося надо льдом, огибая гроулер, торос и свистя в изгибах трещины, шедшей вдоль берега.

Поморники, свернувшись в клубок, спрятались на подветренной стороне скал; те же из них, кому повезло, кто был свободен и не высиживал птенцов, находились в ста милях севернее. Они спокойно парили, дрейфовали над морем, эти владыки бури.

Пингвины, вконец занесенные снегом, продолжали сидеть на яйцах; эти пленники долга, слепого утверждения продолжающейся жизни переживали буран со стоическим хладнокровием.

Форбэш спал. Всякому живому существу оставалось лишь одно: спать, выжидать. Он заставил себя уснуть, когда его оправившееся от шока тело повелело ему вставать и драться, продолжать битву. Сон его явился усилием воли, нарочитого расслабления тела в разгар свирепого бурана. «Спать, я должен переспать буран. Нужно спать. Когда проснусь, будет тихо. Нужно расслабить мышцы и мысли, уйти в себя. В мире от этого ничего не изменится. Я это обещаю. Все останется прежним. Спать. О сон. О покой. О тепло».

Каким голубым и мягким был солнечный свет, проникавший сквозь задернутые шторы его комнаты в бараке на Уиграмской базе королевских новозеландских ВВС, когда он, вернувшись от Барбары, попытался уснуть! До вылета оставалось всего несколько часов. Рядом с ним, в комнатах, похожих на ячейки сот, спали его попутчики, которые скоро должны были проснуться, чтобы распрощаться с Новой Зеландией. Ему не спалось, и утренний

бриз, раскачивавший серебристую березу, чьи ветви ударялись о его окно, казалось, ревел столь же громко, возвещая жизнь и плодородие, как и эта свирепая пурга, от которой содрогалась даже его кровать в шеклтоновской хижине. На кой черт он сюда прилетел? На кой черт отправился на юг? На кой черт заполнял все эти бланки, спешил, присоединился к попутчикам, «выдавал» шуточки, был своим в доску парнем, поднимался к завтраку? На кой черт покинул Барбару? К черту солнечный свет и зеленые газоны на базе ВВС! К черту молодые березы, хлеставшие его по лицу, когда он в десять утра бежал вниз по холму, чтобы позвонить ей! К черту минуту, когда он сел в армейский грузовик вместе с остальными, заполнял анкеты, взвешивал багаж в международном аэропорту! К черту ломоту в плечах и ляжках, сердечное томление, охватившее его, когда он лежал в той голубой комнатухе, а солнце вставало, и он знал, что через четырнадцать часов улетит.

Уходя от Барбары, возле калитки он увидел растоптанный цветок рододендрона, походивший на пятно крови. Ему казалось, что это кровь из его раны. Сердце его открылось перед нею. Он стал так раним, словно был лишен кожи, и в живую плоть его вонзалась щемящая новизна дня. Проснулся он в десять часов от того, что Джон Кинг в соседней комнате исполнял на гитаре какую-то немудреную испанскую мелодию и резким голосом пел. А может, если позвонить, она не захочет его видеть? Но она захотела. Она ждет его к завтраку, как только он закончит свои приготовления к отлету. Он никогда не чувствовал себя таким смущенным.

— Я думал, тебе нужно сегодня идти на работу.

— Я нездорова.

— Ах, вот как... Извини... но тебе действительно хочется?..

— Балда.

— Черт возьми, конечно.

— Этот день для меня важен, как никакой другой.

— Почему?

— Во всяком случае, он будет единственным в своем роде.

— Я тоже так думаю. Послушай, ты очень добра ко мне.

— А я и есть добрая самаритянка.

— Только и всего?

— А чего же ты еще хочешь?

Что у нее на уме? Может, она просто добра по натуре?

Некоторые женщины испытывают потребность в доброте. Отдавать — это неотъемлемая часть их жизни.

— Большого я не смею хотеть.

— Почему бы не попытаться?

— Через десять часов я улетаю.

Он выглянул в окно. Рододендрон был обыкновенным деревом с красивыми цветами, которые вырастут и распустятся (а может, и нет?), а потом опадут, завянут и истлеют.

— Что же, по-твоему, мне нужно будет делать?

— Не знаю. Наверное, углублять знакомство. Ведь мы встретились только вчера.

— Пожалуй, ты прав.

В голосе ее прозвучала такая тоска, что он вздрогнул, словно уже вылез из самолета и спускался по крутому шаткому трапу на ледяную посадочную дорожку аэродрома Уильямс-Филдс, а пронизывающий студеный ветер щипал ему ноздри и колод глаза. Он наблюдал за тем, как она резала на кухне помидоры, сдирала шкурку с окорока, насыпала в солонку соль, зажигала газовую плиту. Как у нее все ловко получается... Я ей и в подметки не годюсь. Она года на три-четыре старше, но, похоже, ничуть не задается. У нее такое самообладание.

— Ты мне напишешь? — спросил он.

— Да.

— Я тебе буду писать. Только писем ты получишь не очень много. Не знаю, часто ли я смогу отправлять почту. Но я постараюсь.

— Я это знаю.

— Возможно, напишу что-нибудь забавное.

— Да ну?

— Правда. Когда живешь в тех краях, иногда на ум приходит что-нибудь этакое, забавное. Становишься каким-то взвинченным. В голову лезут всякие мысли.

— Ничего. Напиши, когда тебе захочется.

— Ты не хочешь, чтобы я часто писал?

— Когда тебе захочется. А то забудешь все то, что, по твоим словам, намерен запомнить.

— Нет, не забуду. Но, возможно, я буду писать кое-что странное. Не возражаешь?

— Нет. Пиши обо всем, о чем хочешь. Я не против.

— Отлично. Вот и я буду писать, о чем захочу. — Рододендрон качнулся под порывом ветра, три кроваво-красных цветка упали. — Благодарю.

Она подошла к нему и тоже встала у окна. Он увидел, как свежа весенняя трава.

— Тебе незачем благодарить меня.

Он ощутил тепло ее тела, коснулся пальцами ее мягких волос. Глаза ее смотрели мягко, внимательно, когда она приблизилась. Она показалась ему самой идеальной женщиной, какую только он встречал. Черт возьми. Девять часов. Даже восемь с половиной.

— Сейчас будем завтракать.

— Хорошо. — Он был беспомощен. Вся боль, желание, возбуждение, тревога разом охватили его. Он опустился на стул, закрыв руками лицо, и почувствовал себя таким одиноким. Наконец она вернулась из кухни.

— Пойдем, а то остынет.

День выдался жаркий, ветреный, проникнутый сухим дыханием северо-западника. После полудня они пошли погулять.

Форбэш постепенно привыкал к ветру. К концу второго дня он почувствовал уверенность, что тот не причинит ему вреда, хотя и понимал, что уверенность эта опасна, что буря в любую минуту может уничтожить его. Снежный ящик был пуст, но для того чтобы наполнить котелок, стоило лишь выйти в коридор, где сугроб по-прежнему рос. Зажигать керосиновую лампу стало необходимостью: с подветренной стороны намело столько снега, что свет едва пробивался сквозь оконное стекло. Сначала темнота усугубляла зловещий вой бури, но он привык и к этому; ему стало безразлично, что произойдет с жилищем, лишь бы в алькове — его берлоге — было тепло и покойно.

«Двое суток. Надо отметить это событие», — произнес он и, точно совершая какой-то религиозный обряд, снял с полки последние четыре банки пива. В конце концов, если Старшот придет к Рождеству, то наверняка он прихватит с собой чего-нибудь горячительного, хотя, судя по свирепости пурги, надежды на его появление мало.

**8** «Я ТАК ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, — ПИСАЛ ОН. — МОЖЕТ ЛИ женщина объяснить смятение мужчины? Здесь вокруг меня такое запустение, что мне кажется, будто естественная форма жизни — отчаяние и хаос. Может быть, ты знаешь больше меня? Когда ты прочтешь эти строки, все, что я сейчас переживаю и слышу, кончится. Снова будет светить солнце, мир отойдет, оттает. Может, даже льды унесет в океан и море очи-

стится. Возможно, уже завтра, когда проснусь, я услышу их треск. Видишь ли, сейчас пурга. Она задула позавчера, а сколько будет еще продолжаться, я не знаю. Жизнь моя вдруг оказалась стиснутой в теснейшие рамки. Это четыре стены хижины. Не знаю, поможет ли мне то, что я думаю о тебе, но я это делаю. Наверно, ты для меня что-то вроде средства спасения. Но если даже это так, имеет ли это какое-нибудь значение. Я жду некоего решения от сил, заключенных в этом хаосе, что царит за дверью, и чувствую, что, когда решение это будет принято, меня сметет, как пылинку.

Мне так грустно, потому что, по-моему, ты перестала жить во мне. Ты стала всего лишь идеалом, который проник в мое сердце и ум, и я не знаю, как мне с ним быть. Наверно, там, снаружи, сейчас гибнут живые существа, и я более не в состоянии представить, что же с ними происходит. Я более не в состоянии понять разницу между бытием и небытием, так как внутри меня исчезло ощущение этой разницы. Если бы буря унес меня прочь, то у меня, пожалуй, не хватило бы сил, вернее, веры, чтобы бороться с ним. Он, в сущности, еще не добрался до меня. Я сижу и жду, только и всего. Я в безопасности и не знаю, что стал бы делать, если бы не был в безопасности и не был отягощен стремлением сохранить свою жизнь. Как отличить собственную жизнь от жизни вообще? Не можешь ли ты помочь мне? Ты читаешь это письмо лишь спустя несколько недель, а я все же пишу, словно ты ответишь мне через несколько часов или по крайней мере послезавтра. Возможно, я идолопоклонствую, совсем не зная тебя.

Я допиваю последнюю банку пива, но это меня не заботит, потому что Алекс Фишер, радист, сказал мне нынче вечером, что на Рождество придет Старшот, а уж тот привезет пива. Я на него надеюсь. На что же мне еще надеяться? Во всяком случае, я не беспокоюсь, потому что у меня есть тайна, которую я скрываю даже от себя вот уже восемь недель. У меня есть полбутылки виски, которую я нашел на дне сундука с припасами в первый же день, и мне наплевать, если весь мир развеет в пыль.

Чувствуешь ли ты в себе жизнь? Чувствуешь ли, как наливаются твои железы, по мере того как жизнь размеренно идет своим чередом? Знаешь ли ты о жизни больше меня лишь благодаря своему полу? Может, ты понимаешь ее инстинктивно, тогда как мне потребуется несколько тяжелых месяцев, чтобы попытаться обрести какое-то смутное, примитивное представление об истине, которую я так и не смогу осознать по-настоящему? Пожалуй, мужчине не дано это узнать, потому что природа его постоянно

требует созидательного акта, когда же акт этот завершен, то о жизни ему уже незачем думать.

Черт бы тебя побрал. Лучше бы мне тебя не знать. Я тебе говорил, что мне придется расплачиваться за это. И все же меня мучит не просто чувственная память, а ощущение, что я так близок к разгадке, к познанию тайны. Не является ли любовь, эта «малая смерть», по словам умных людей, столь же осмысленной и одновременно бессмысленной смертью, как и сама смерть? Я не могу описать тебе свое теперешнее внутреннее и внешнее смятение. Весь мир пылает, и пламя раздувается ветром.

Теперь я гораздо дальше от тебя и в то же время ближе.

Зачем ты прислала мне стихотворение? С каким умыслом? Что это значит? Ведь разум наш в значительной степени является жертвой тела, продолжающего жить своей жизнью.

Я кричу в пустоту, это глас вопиющего в пустыне, огромной пустыне, состоящей из ветра и льда. Больше нигде в мире нельзя заниматься этим. Только здесь можно сидеть в полном одиночестве в этой несчастной развалюхе среди несчастного этого бурана, деловито убивающего все живое, и выть в пустоту. Эхо кружит и кружит, и ничего не происходит. Ты просто сидишь здесь и воешь: «Почему?» Никто не слышит тебя, и ты не слышишь никого, даже в далеком далеке. Но мне нужен ответ. Ответ мне, бога ради. Что происходит? Нет даже звезд, чтобы выть на них, а солнце унесло за тридевять земель. Все кругом бело. Я ничего не вижу из окна, только белое, белое, белое. Бесплодное, белое. Приди ко мне со своим многоцветьем и теплом. Кому же я пишу? Тебе? Ответишь ли ты мне или же ты всего лишь частица пустоты, отраженная в пустое пространство и порождающая лишь еще одно расплывчатое эхо?

Как мне хочется сойти с ума, чтобы на губах выступила пена, чтобы...»

На третий день, утром, лежа на своей койке, Форбэш разглядывал полифоническую музыкальную машину «Пингвин-мажор», вернее, печальную коллекцию бутылок, представлявшую лишь зачатки этого инструмента. Пошарив под койкой в ящике, он обнаружил Альфонса и нажал на его надутый живот. Из-за шипенья метели и грохота ветра он едва расслышал его писк.

«Зачем это я? Нет, ни к чему», — подумал он. Потом слез с постели и остановился возле бутылок и кусков дерева, по-прежнему лежавших там, где он их оставил неделю с лишним назад. «Ни к чему», — произнес он, зажигая примус и наполняя снегом

шеклтоновский большой ржавый котел. «Ни к чему, ни к чему?» — говорил он, надевая теплый шерстяной свитер и зажигая печки. «Ни к чему все это», — повторял он, положив на стол Альфонса, который снова пискнул; потом он достал из футляра кларнет и извлек из него среднее «ми» — ноту, почти слившуюся с воем ветра, гудевшего у дверей, возле закрытых ставнями окон, в натянутых тросах-оттяжках, удерживающих крышу.

«Ни к чему это», — сказал он и взял помутневшую бутылку, прикидывая, даст ли она нужную тональную окраску, на которой можно было бы основать гамму «Пингвин-мажора». «Нет, к чему», — решил он и несколько минут, охваченный вдохновением, стоял неподвижно, прислушиваясь к демоническим воплям разбушевавшихся стихий.

Работал он торопливо. Сперва принялся мыть бутылки, считая при этом с них почтенные наклейки образца 1906 года. Он с удивлением обнаружил, что даже в ту пору фирма Гейнца выпускала пятьдесят семь видов бутылок, но, глядя, как от бледно-зеленого стекла отклеиваются этикетки, он не чувствовал за собой никакой вины.

С колбами профессора Т. Эджуорта Дэвида дело обстояло сложнее всего. Форбэш не вполне был уверен в том, что они не лопнут у него в руках, брызнув ему в лицо со всей запальчивостью научной страсти, заставлявшей в свое время профессора Дэвида, тогда еще совсем молодого человека, брести перед санями до самого южного магнитного полюса и обратно в 1908 году. Сам Шеклтон в ту пору переживал страшные тяготы, двигаясь по плато к географическому полюсу.

Объятый клубами пара, вырывавшимися из котелка, Форбэш чувствовал, что тени тех людей стоят, сгрудившись вокруг, и благословляют его музыкальные усилия.

Из досок от шеклтоновских стоил он смастерил подставку, а на нее поставил хитро придуманную решетку, на которой укрепил посуду, начиная от пробирок и кончая бутылку в полгаллона из-под формалина. Из-за шума ветра, который, казалось, все усиливался, он почти не слышал ударов молотка.

К нижней части подставки он прикрепил Альфонса — так, чтобы правой ногой было удобно нажимать на него. Теперь оставалось выбрать инструмент для левой ноги. Барабан обладает преимуществом перед цимбалами, однако барабан издает один-единственный звук, между тем как, для вящей полифоничности машины, нужно сопровождение, как бы аккомпанемент. Тут надо было пораскинуть мозгами. Поэтому Форбэш потянулся к бутылке

и, наливая себе в стакан, глянул в окно. Он заметил, что сугробы ничуть не уменьшились, хотя ветром их должно было сдуть; тогда и воздух, освободившись от снежной пыли, был бы гораздо прозрачнее.

Блестящая мысль осенила его, когда бутылка была почти пуста. «Если сделать ножную педаль, то можно использовать и ударные, и метелку, издающую постоянный царапающий звук. Ага!»

Для ножной педали надобна пружина или резина. Хотя нет. Если прикрепить педаль к ноге, то ее можно и поднимать, и опускать. Метелку можно сделать из остатков шеклтоновского тостера и прикрепить к рычагу, который бы двигался вместе с ножной педалью. Тогда бы метелка царапала алюминиевую пластинку, приколотенную к перекладине, соединенной с основанием инструмента. С барабаном было сложнее. Ударник надо было присоединить проволокой к педали и на шарнире прикрепить к другой перекладине с тем, чтобы длинный его конец с головкой (замороженной картофелиной, которую Форбэш нашел в углу под столом) мог ударять по квадратному барабану. Барабан этот Форбэш ловко обтянул пингвиньей кожей. Заскорузлую от мороза, он оттаял ее над кипящим шеклтоновским таганком, потом натянул на деревянную раму и высушил возле грелок. Барабан получился не слишком большой и не очень гулкий, но Форбэш, опьяненный успехом, приколотил раму к ящику из-под продуктов и замазал щели стеарином. Инструмент получился вполне сносным. На бечевке от метеозонда он был подвешен к днищу ксилофона. «Я гений. Там-та-там. Ай да я!»

Он не мог решить, что лучше — подвесить кларнет к перекладине над машиной «Пингвин-мажор» или же прикрепить к ремням, надеваемым на плечи. Эстетическое чувство подсказало ему, что лучше всего закрепить кларнет над бутылками, чтобы не задевать его молотком ксилофона. Подставка кларнета, подобно носу античного корабля, была украшена алебастровой статуэткой Венеры Виллендорфской; ее чело эпохи неолита неодобрительно хмурилось при виде этого музыкального чудовища, а береманный живот, казалось, вот-вот затрясется от смеха. Из шеклтоновского кувшина Форбэш принялся наполнять водой бутылки ксилофона. Добиваясь чистоты тона, он ударял по ним отверткой с деревянной ручкой. Больше, чем на две октавы (вместе с полутонами), руки у него не хватало, но и этого, по-видимому, было достаточно. Он попробовал исполнить «Трех слепых мышей», но позорно провалился. Он понял, что «Пингвин-мажор»

настолько сложный инструмент, что понадобится немало труда, чтобы освоить его. Пришлось также признаться, что играть на кларнете одной рукой чрезвычайно трудно. Инструмент производил столько шума, что нельзя было разобрать ни единой ноты, поэтому Форбэш с удовлетворением заключил, что он неплохо потрудился во славу Музы. Так что он лег на койку и, пока кипела вода для кофе, с восхищением разглядывал творение своих рук.

«Придется приделать колеса. Иначе не сдвинуть с места. Пусть только появится Старшот. Сразу оглохнет», — довольно улыбнулся Форбэш, и тут рама юго-западного окна влетела внутрь дома.

Он инстинктивно бросился к примусу, который чуть не опрокинулся от невероятно мощного порыва ветра, ворвавшегося, точно снаряд, и с силой тарана ударившего по барабанным перепонкам. В следующее мгновение хижина наполнилась снежной пылью, похожей на дым.

«Ставень... Что случилось с этим поганим ставнем?» — подумал Форбэш, надея на пол, все еще держа в руках погасший примус. «С этим в порядке. Теперь печки, печки...» Он пополз к печкам, чтобы погасить их. «Только бы не загорелось. Отсюда не выберешься. Дверь-то завалило».

Он лежал на полу, а между тем снежная пыль оседала на нем, а грохот пурги сокрушил его и оглушил. Ужасный шум этот усугублялся диким хлопаньем занавеса, стуком бутылок и банок, падающих с полок, скрипом и стоном стропил и балок. Форбэшу показалось, будто все строение вдруг ожило. Будто это уже не стойкое, прочное, надежное сооружение, а живой организм, пульсирующий в лад пурге и тяжело вздыхающий, когда на его стены и крышу наваливался своей тяжестью ветер.

— В чем же дело? В чем дело? — произнес он вслух, но не услышал собственных слов. — Надо как следует подумать. Надо подумать, думать, думать.

Он колотил по полу сжатыми кулаками, терся щекой о холодные доски пола. «Мне не выйти. Но я могу выбраться через окно. Я погребен под снегом. Обжег руку. Ударился о край стола головой. Она кровоточит: я вижу кровь на снегу. То есть на полу».

Неожиданно крыша приподнялась. Форбэш только ощутил это барабанными перепонками, но не увидел. Послышался жуткий, сухой скрип, похожий на стон, отдавшийся даже в полу строения.

«Мне холодно. Я замерзаю. Может, мне придется умереть, как пингвинам. Ну, и наплевать. Наплевать на все, на Барбару

и даже на мою машину. Наверно, мой кларнет полон снегу. Ну, и плевать. Плевать».

Он пополз на животе и коченеющими руками начал шарить под койкой, пока не нашел свои маклаки. Ползком же пролез под столом, добрался до штабеля ящиков, стоявшего в изголовье постели, с трудом поднялся и наощупь, держась за проволоку занавеса, нашел повешенные там для сушки гамаши. Снежная пыль заклеивала ему ресницы. Порывом ветра подняло занавес, и на него тотчас пахнуло ледяным холодом. Но он все-таки натянул маклаки, затем воздухопроницаемые штаны, анорак, меховую шапку, надел снегозащитные очки, которые тотчас покрылись снегом и инеем, так что их пришлось сорвать.

«Проклятье. Плевать. Плевать. Проклятье. Проклятый ветер. Проклятый, сволочный ветер. Будь ты проклят. Проклят. На все наплевать».

Он стал пробираться к полкам в задней части алькова, споткнулся о стол, но все-таки нашел молоток и гвозди и сунул их в большой карман анорака. Потом достал из-под стола репшнур и ледоруб. Обвязавшись репшнуром вокруг талии, второй конец он привязал к балке возле наружной двери, из занавеса вырезал ножом большой лоскут парусины.

Нож оказался настолько тупым, а парусина настолько прочной, что он ободрал себе на пальцах кожу. «Ах, ты, проклятая парусина. Ты опять наполнишься ветром. Да не так, как на «Нимвроде», проклятая ты занавеска. Чем же мне закрыть это окно? Изнутри этого не сделать. Придется выйти из дома. Дерево. Нужно дерево, доски. Шеклтоновский стол. У него там есть стол. Придется его взять».

Наклонясь, чтобы устоять перед напором ветра, врывающегося в распахнутое окно, он стал пробираться в другой конец помещения. Вместо окна был лишь тусклый квадрат. На минуту воздух в комнате Шеклтона сделался неподвижен, но из-за гула ветра и вздрагивания стен и крыши, которая, казалось, вот-вот взлетит в воздух, буран тут казался еще более жутким. Он оторвал от стола доски и полез в свой альков за обрывком веревки. Связав их одним концом, другой он прикрепил к балке над дверью.

«Я соображаю, что надо делать. И мне на все наплевать. Я разделаюсь с тобой».

Прячась от ветра, он согнулся и, волоча за собой доски, стал медленно продвигаться к смутному пятну окна. Добравшись до стены, он быстрым движением вытолкнул доски в окно. Он услышал, как они, подхваченные ветром, простучали у него над голо-

вой, натянув веревку, к которой были привязаны. Он пополз назад по засыпанному снегом полу за куском парусины, который зацепился под стол. Парусины там не было. Чертыхаясь, он схватил занавес, оглушительно хлопавший на ветру, вырезал ножом другой доску и засунул его под репшнур, обмотанный вокруг талии.

«А теперь моя очередь. Надо мне самому выбираться. Я опоздал. Это точно, я опоздал. Ну, и плевать. Барбара. Черт возьми, мне наплевать на все. Перчатки, шерстяные варежки, воздухопроницаемые рукавицы... Куда они задевались? Ах, в штанах, в боковом кармане. Черт возьми, никак их не вытащить. Ох! Пальцы, бедные мои пальцы».

Открыть окно оказалось делом несложным. Взяв в обе руки ледоруб, он разбежался и своим весом вышиб остатки рамы. Из-за встречного напора ветра он застрял в проеме и упал вниз головой, разорвав об осколки стекла полы анорака и правую штанину — от пояса до колена. Прижатый к стене, он лежал на штабеле шеклтоновских консервных банок, куда впился его ледоруб. Ветер вонзался ему в пах, холод огнем обжигал ногу и колено.

Не думая (впоследствии он не мог вспомнить ни единой мысли, ни единого движения, проделанного сознательно), Форбэш с трудом, словно приклеенный, оторвался от стены, ничего не видя и не слыша. Ребра, помятые о бревно, болели. Пошарив кругом, он неповоротливыми пальцами нащупал выброшенную им связку досок. Кое-как ему удалось подползти к ним поближе. Прижав их к стенке, он ослабил петлю, вытащил одну доску, а затем вновь затянул узел, чтобы можно было опустить связку. Сжимая в руках доску, он, преодолевая боль во всем теле, придвинулся к окну. С величайшими усилиями он прибил все доски, поддерживая их онемевшими, бесчувственными, кровоточащими пальцами (он несколько раз угодил по ним молотком).

Потом, повернувшись спиной к ветру, он кое-как сумел размотать кусок парусины, обмотанной вокруг пояса. Перчатки пришлось снять: иначе жесткую грубую ткань невозможно было удержать. Он почувствовал нестерпимую боль в кончиках пальцев и ободранных костяшках, ощутив прикосновение парусины обнаженной обмороженной плотью. Той самой парусины, которую нужно во что бы то ни стало приколотить (да хорошенько, черт возьми!), притом так, чтобы ветер прижимал ее к доскам, а не отдирал прочь. И он это сделал.

Форбэш лежал в снегу, засунув руки под мышки, свернувшись в тугой клубок и дыша так тяжело, что он поцдил: долго ему

не продержаться и все его тело разнесет ветром на части, подобно раме, разбитой в щепы. Тут он вспомнил (боже, я еще что-то помню!) про свой ледоруб и принялся скрючившись искать его, шаря в снегу. Левый локоть он прижал к глазам, а ладонь спрята под мышку. Свободной рукой он разгребал снег, счищая его с обжигающего металла шеклтоновских жестянок с овсяной мукой и тушеной. Отыскав наконец меж них свой ледоруб, он прижал его к груди, обжегши правую щеку ледяным его острием.

Шатаясь и падая, он добрался до подветренной стороны хижин, пройдя мимо старых саней, которые словно вкопанные по-прежнему стояли в углу, мимо двери, так безнадежно засыпанной снегом. (Теперь мне не попасть внутрь. Боже, что я наделал! Ну, и плевать, плевать! Но как, все-таки, я попаду внутрь?), мимо крохотной кладовки в северо-западном углу дома и таблички с запрещением курить в историческом здании, мимо гаража. Он перелез через стульчак, занесенный снегом, через рулевую колонку автомобиля, через собачью конуру и под конец очутился среди пожелтевших, обветрившихся кип сена, выложенных вдоль подветренной стены. Веревка оказалась чересчур короткой. Она, видно, за что-то зацепилась, и ему никак было не добраться до окна. А нож куда-то запропастился. Но куда, куда? Где же этот нож, который я ношу с собою с тринадцати лет? Я его купил на все свои сбережения и никогда с ним не расставался. Где же он? Никак не развязать этот узел, где же он, где мой нож, только не теперь, о боже, где же он, ах вот, в руке, держи его крепче, не потеряй, убери в сторону, теперь разрывай сено, отодвинь его, подползи, орудуй ледорубом, расковыряй кипы, а теперь пройди еще подальше, пни по раме, сильнее, еще сильнее, не ушибешься (ааах!), теперь держись крепче, ударь ледорубом, не бойся, падай, голова будет цела, ведь на ней шапка.

Форбэш лежал под столом среди осколков бутылочного ксилофона «Пингвин-мажор», уставясь на клубы снежной пыли, проникавшей сквозь подветренное окно и прислушиваясь к шипению ветра в юго-западном окне и шороху поземки. Он видел, как сквозь ничтожные щели, оставшиеся в щите, закрывавшем юго-западное окно, медленно сеял снег и, точно мука из сита, оседал на полу. Ему вспомнилось, как в детстве он просеивал для матери муку, когда она собиралась что-то испечь. Метель почти утихла.

Форбэш проснулся, ощущая боль в ладонях и колéне. Яркое светило солнце, все кругом было спокойно. Спальный мешок был засыпан снежной пылью, которая забила в бороду и щекотала

поздри. В разбитое северное окно дуло, поэтому он поднялся и закрыл его картоном от коробок из-под пива. Потом стерильным бинтом забинтовал пальцы и волдырь на обмороженном колене и снова улегся спать.

В восемь утра Форбэш, этот неустрашимый музыкант, вызывал базу Скотт. Его услышал радист Алекс Фишер, настроивший приемник на аварийную волну полевых партий. Хриплым, возбужденным голосом Форбэш спрашивал, нет ли рядом Старшота. Нет. Старшот как раз надевает анорак, чтобы на тягаче оттащить груженные сани к собачьим упряжкам.

— Тогда попроси его захватить с собой бутылок. Бутылок. Передаю по буквам. «Б» — балда. «У» — урод. «Т» — темнота. Ах, понял? То-то. Прием.

— Перехожу на прием. Бутылки есть. Но какие именно нужны? И на кой они тебе хрен?

— Нужны бутылки, Алекс. Дюжины три и разных размеров. И еще стаканы для виски. Пусть Стар стацит штуки три на камбузе. Три. Прием.

— Ладно, Дик. Ладно. Ты хочешь, чтобы Стар притащил три дюжины бутылок и три стакана. Как ты поживаешь? Как поживаешь? Прием.

— ZLQ, у меня все в порядке. Все в порядке. Нет ли у вас чего-либо для меня?

— Как ты пережил пургу, Дик? Повреждений много?

— Нет, Алекс. Сущие пустяки. Передай Стару, чтоб не забыл захватить пиво. Пиво, Алекс.

— Ладно, Дик, передам. Мы тут о тебе беспокоились. У нас ветер достигал девяносто пяти узлов, а на посадочной площадке скорость его доходила до сотни. Тебе, наверно, тоже досталось. Как теперь у тебя? В порядке? Прием.

— В полном. Пусть Стар захватит с полдюжины пакетов первой помощи и несколько повязок от ожогов. Ладно, Алекс? Тут было не так уж страшно. Не так уж плохо. Просто очень скучно. Трое суток никуда не вылезал. У меня все, Алекс. Говорит ZLYR с мыса Ройдс. Вызываю ZLQ с базы Скотт. Прием. Сеанс связи закончен.

— Все ли у тебя в порядке, Дик? Все ли в порядке? Вызываю ZLYR, вызываю ZLYR. Куда ты исчез, черт возьми? Идиот.

Алекс Фишер сообщил о разговоре руководителю, а тот сказал, что Форбэш выдюжит: «Парень что надо, этот Форбэш. Правда, он всегда был чуть тронутый».

Старшот погрузил на свои сани бутылки, пиво и индивидуальные пакеты. «А ну, родимые!» — произнес он, и собаки натянули постромки. «Тронули!» — крикнул он, и упряжка понеслась. А Форбэш снова улегся в постель.

После полудня из-за боли в руках он опять проснулся. Беде помочь было трудно: использовать морфий при обморожении чересчур опасно. Если обезболить рану, то не почувствуешь, когда это место будет снова обморожено. Он принял четыре таблетки кодеина и, привстав, но не вылезая из спального мешка, разжег примус, чтобы сварить себе какао. В голове что-то словно пульсировало, а тело было будто погружено в студеную воду. Грелки зажигать было нельзя: снежная пыль, толстым слоем лежавшая на стенах, потолке и на полу дома, растает от тепла и превратится в лед, как только он выключит печки. Жилище теперь годилось только на слом.

Жестянки и бутылки, стоявшие вдоль восточной и южной стен, как бы всосанные разрежением воздуха внутрь дома, валялись на полу; некоторые были разбиты. Портрет короля Эдуарда VII и королевы Александры в расколотой раме лежал вниз лицом среди осколков стекла. Возле разбитого окна, на подоконнике и на полу лежало несколько кубометров мелкого снега. Было очень холодно, снег таял на здоровой, незабинтованной руке Форбэша, от этого она покраснела и заоченела. Его книги и бумаги были разбросаны по комнате, несколько листов забавно прилипло к дымоходу, проходившему над шеклтоновской плитой. Продукты в распечатанных ящиках были покрыты снегом. Снег был в сахаре, в томатном порошке, в какао, луценом горохе и сушеных овощах.

«И когда это я успел поставить стол на место? Чтоб я лопнул, если помню».

Он облокотился на стол, протянув раненую руку к теплу примуса. Пальцы дергало, под ногтями возникла резкая боль. Колено раздулось и напоминало огромный волдырь, но больше не болело. «Да, пожалуй, мне повезло».

Форбэш вконец заоченел. Он кое-как вылез из спального мешка, при малейшем движении ощущая каждый ушиб на теле. Довольный тем, что из-за холода не надо раздеваться и осматривать свои синяки, он принялся искать фуфайку, штаны и туфли. В этой одежде ему было вряд ли теплее, но, во всяком случае, он был как-то защищен от холода и не терял тепла. «Тепло — это энергия. Энергия — это еда. Мне нужно поесть горячего».

Кое-как разломав плитку мясного бульона, он бросил ее в вакуумный судок, туда же положил овощей и картофеля. Когда суп был готов, он начал хлебать его, заедая намазанными маслом галетами, и почувствовал, как с каждым глотком отступает боль. Минут двадцать спустя он, обливаясь потом, ел дымящееся жаркое. «Какое-то волшебство. Вот что значит еда. Чувствуешь себя совсем другим человеком». Но тут он совсем сомлел и снова опустился на постель. «Мой «Пингвин-мажор»! Черт возьми, я разбил бутылки! Придется все начинать сначала».

Проснувшись, он почувствовал прилив сил. Он встал, оделся и начал убирать из прихожей снег. Солнце ярко светило. Лопаткой, зажатой в правой, здоровой руке, он сперва выгреб снег внутрь помещения. После этого он смог открыть наружную дверь. Воздух был неподвижен. Было тепло. Тепло! О тепло! Ни один день не был встречен с такой радостью, как этот, никогда мир не был столь желанным и манящим. «Куда же ты подевалась, пурга? Будто никогда и не держала меня в своих объятиях».

Медленно, спотыкаясь, с трудом переставляя ноги, он побрел по сугробам к озеру. Снег был настолько плотен, что ноги почти не проваливались. С сияющим лицом он побрел через озеро к пингвиной колонии. Оттуда не доносилось ни звука. На тех склонах, которые были меньше всего защищены от ветра, пингвины сидели возле пирамидок снега, наметенных с подветренной стороны. Не было видно ни одной закованной, неживой птицы. Подветренные склоны, покрытые толстым слоем снега, были испещрены темными отверстиями, из которых то и дело выглядывали изящные черные головки с любопытными носами. Ни ветерка, ни облачка.

Он поднимался и опускался по склонам колонии, остановился, чтобы поднять табличку с надписью «Полярная ферма «Пингвин»». Счистив с нее ледяную корку, он прочно укрепил ее основание камнями. Птицы не издавали ни звука. Даже поморники молча отдыхали от полета на теплых вершинах утесов. Во всей колонии Форбэш насчитал всего лишь трех мертвых пингвинов.

Вокруг темных камней, темных голов и спин пингвинов быстро таял снег: они поглощали тепло. Через день почти все они освободятся от снега. Форбэш остановился возле пингвина и свободной рукой расчистил вокруг него снег. Оба яйца, крепко зажатые между ног пингвина, были еще теплые. Птица заморгала и отвернулась, когда Форбэш приподнял ее над яйцами. «Ну, что я тебе говорил? Что я тебе говорил? Ты в безопасности». Хотя

мне незачем было говорить им это. Они и так все знали. Вот мы и выкарабкались.

Воздух был неподвижен, солнце стояло высоко над западными грядками гор, отражалось в ледяных складках Эребуса, который едва курился, заливало светом острова пролива. Голубые ледяные поля тянулись на север, покуда хватал глаз. Вдруг Форбэш услышал какой-то непривычный звук (он походил на шум горного ручья, пробивающегося меж камней, просачиваясь сквозь мох и кочки) и тут понял, что для пингвинов испытание только началось. Как только снег растает, колонию затопит. Он уже видел первые признаки потопа: это журчали ручейки, проникающие между камешками гнезд, и сбегали по ложбинкам и лощинам в озеро, прячась под ослепительными сугробами, оставшимися после пурги.

**9** СТАРШОТ ПОДГОНЯЛ СОБАК. В ТО ВРЕМЯ КОГДА Форбэш прислушивался к зловещим шорохам наводнения, упряжка Старшота мчалась по припаю, огибая язык глетчера Эребус. Он бежал на лыжах вдоль трещины, шедшей от глетчера к острову Недоступному; возле нее расположились со своими детенышами тюлени. От трещины расходилась сетка трещины поменьше. Переведя дыхание, он выругался: собаки, вместо того чтобы бежать прямо к мысу Эванс, поровили повернуть в сторону тюленьего лежбища. Старшоту пришлось сбросить лыжи. Сперва он ловким движением скинул ту, что была ближе к санкам, и она побежала рядом с санками, и в это время он, ухватившись за ручки, ступил свободной ногой на полоз, потом наклонясь, подхватил лыжу и положил ее на санки, подсунув под веревки, которыми был привязан груз. Затем, страхнув лыжу с другой ноги, стоя на одной ноге и держась рукой за санки, поймал эту лыжу и положил ее рядом с первой. «Оук, Батч, болван ты этакий! Оук, оук!» — покрикивал он, проделывая все эти акробатические номера, чтобы заставить вожака — крупного белого пса с пегим пятном на левом ухе — подать вправо.

Батч оглянулся через левое плечо на Старшота, свесив язык и требуя похвалы его старательности. «Оук, оук, Батч. Вот я тебе задам, упрямая, паршивая псина!» Старшот прыгнул в своих неуклюжих маклаках в сторону и, подбежав к головной собаке (всего в упряжке было девять псов), схватил ком лежалого снега

и угодил Батчу в левый глаз, заставив его, наконец, повернуть. «Фьить, собачки, фьить, милые. Фьить, Пибрейн, фьить, Пинате. Имиак, Сингарнет, Селуток, фьить!»

В то время как Форбэш брел назад с холма, думая об опасности потопа, о безжалостной прочности припая, Старшот выбежал вперед упряжки, чуть опережая ее бег (4—5 миль в час), и, увлекая за собой Батча, направился туда, где торос возле большой трещины между языком глетчера и островом Недоступным был пониже. Одним махом он перепрыгнул через нее и побежал дальше, подбадривая собак: «Фьить, собачки, фьить!» А те, не останавливаясь, послушно и весело перескочили через трещину следом за ним. Санки ударились о край трещины. Полозья изогнулись от удара, потом простучали по льду: санки с грузом благополучно очутились на другой стороне трещины. Тюлени, гревшиеся на солнце, перевернулись на спину и, вытянув короткие толстые шеи, озабоченно зашипели.

Форбэш брел по заснеженному озеру, наблюдая за поморниками, которые расселись на своих скалах, словно нераскаявшиеся и безнаказанные преступники, напоминая пиратов, развалившихся под пальмами пустынных островов, отдыхая перед очередным разбоем. Между тем Старшот, удаляясь на несколько сотен ярдов от торосов и очутившись на ровном льду, снова вскочил сзади на полозья саней. Он наклонился, чтобы опереться грудью о поклажу, вскарабкался на нее и сел верхом. Тюленей видно не было, и собак ничто теперь не отвлекало.

Голубой, подтаявший от солнечного тепла лед был свободен от снега, и санки бойко неслись по его гладкой поверхности. Полозья постукивали, издавая ни с чем не сравнимый звук, — то была песнь мчащейся упряжки; натягивая сырмятные ремни, изгибались распорки, словно шпангоуты корабля викингов во время качки. «Пусть пробегутся. День сегодня удачный. Припай гладкий, санки движутся легко. Лед ровный и прочный. Фьить, собачки. Но на кой черт Диду бутылки?»

Старшот пригнал упряжку в укрытие на мысе Эванс и остановил санки с помощью тормоза и восклицания: «Аааа, собачки, аааа!», произнесенного негромким, постепенно понижающимся голосом. А в эту минуту Форбэш сидел на своих нарах и забинтовывал колено и руку. Он был настолько измучен, что не в состоянии был вынести из хижины весь снег. Он только и сумел, что прибрать свой неудобный, запущенный угол, и теперь с нетерпением ждал, когда сварится суп и стухнет жаркое.

Старшот — дородный, близорукий — кормил собак, выдавая им фунтовые пачки промерзлого пеммикана. Собаки прыгали, подынаясь всех их в ряд. А Форбэш уснул опять, мысли его утопали в холодном море, а пропитанное кодеином тело было вялым и спокойным.

Нависшее над горизонтом солнце золотило кудрявую белокурую бороду Старшота, поблескивало в его очках, когда он ставил свою двойную полярную палатку. Он проделал ледорубом отверстия в снегу для четырех бамбуковых палок — распорок, потом, раскрыв палатку наподобие веера, растянул ее крылья, наложив на них вместо грузил глыбы снега, натянул оттяжки. Фальшивя, принялся мурлыкать какую-то мелодию и стал вырезать глыбы снега, укладывая их у входа в палатку между наружным и внутренним ее скатами. То был запас воды. По другую сторону палатки недалеко от входа он вырыл мусорную яму, перетащил внутрь палатки надувной матрас, спальный мешок, ящик с кухонными принадлежностями и мешок с личными вещами, высыпал у входа содержимое продовольственного ящика и заполз в свое прекрасное, надежное несудуваемо зеленое и уютное жилище.

«Ммм-ммм, так-то лучше. А ну, заткнитесь! И без того шуму хватает», — крикнул он, слыша тьяканье собак и звяканье цепей. Собаки заскулили и потом притихли. «Ммм-ммм, черт меня подери!»

Старшот приготовил себе суп и поджарил здоровенный кусок мяса, которым снабдил его повар с базы Скотт. А Форбэш что-то бормотал в беспокойном сне. Ему снилось, будто он стоит на льдине в обществе трех пингвинов, до смерти перепуганных присутствием трех косаток, которые плавают вокруг льдины, наполняя воздух своим смрадным дыханием, а льдина тает с краев прямо на глазах.

«Воронье!» — произнес Форбэш и, проснувшись, сел на постели. И только тут понял, что у него болит голова от ушиба, который он получил, кинувшись к примусу, когда ветром выдавило раму юго-западного окна. Он вздохнул и снова улегся спать, а в это время Старшот, страхнув с бороды остатки роскошного обеда, прихлебывал из своей большой белой кружки кофе, смакуя ром, который он туда плеснул, потом раскурил трубку и полез в спальный мешок читать журнал «Сатэрдей ивнинг пост» трехгодичной давности (изготовителя собачьего пеммикана засунули его в коробку с банками пеммикана). Почему они это сделали, ему было невдомек, но факт оставался фактом, представлявшим одну

из наиболее приятных тайн, связанных с передвижением на собаках. Так, однажды он обнаружил в коробке нудистский журнал, из-за которого его преследовали беспокойные сны, несмотря на то что изображенные там женщины были толсты и уродливы. Хотя он и вообще-то был склонен к подобного рода сновидениям.

Поднявшись в шесть часов, он прогнал сон, протерев глаза грязными пальцами, закурил трубку, съел две миски каши и полфунта бекона, выпил три чашки чая, упаковал свои пожитки и свернул палатку. («Ммм, ммм, эй-й-й, псы, эй-й-й») Батч и Пибрейн щерили зубы, готовые вцепиться друг в друга, а этот протяжный, негромкий клич успокаивал их). Потом нагрузил санки, запряг прыгавших вокруг него собак и в девять часов отправился в путь. Встав сади на полозья, он весело покрикивал на собак, и четверть мили они пробежали единым духом.

В два часа пополудни Форбэш, вставший поздно, занимался подсчетом яиц — впервые за целую неделю — и тут услышал лай собак и гиканье Старшота. Веля упряжке повернуть влево, он высоким голосом кричал: «Ррек!» Собаки бежали дружно: лишь в трехстах ярдах от бухты Прибытия он обругал вожака. Был уже сачельник, и в колонии появилось десять пингвинят с голубыми нежными лапами.

По какой-то причине Форбэш не спустился вниз, чтобы приветствовать приятеля, помочь ему распрячь и накормить собак и захватить с собой часть пожитков.

Форбэш, усевшись на солнцепеке среди скал колонии № 9, думал о пингвинах, поморниках и тюленях, прикидывал, далеко ли тянется припай. По его расчетам, до чистой воды теперь было каких-нибудь двадцать—тридцать миль. Поморники возвращались с промысла раньше, чем прежде; видно, во время бурана ветром взломало большую часть ледяного покрова южной части моря Росса. Скоро море подойдет вплотную к берегу.

В колонии снова царило оживление. Снежные сугробы, окружавшие гнезда, почти исчезли, и хотя пингвины все еще выглядывали из снега, теперь они могли передвигаться, переворачивать яйца, ухаживать за птенцами. Пингвины непрерывным потоком возвращались с моря, и то и дело слышались восторженные клики птиц, узнавших супруга или супругу. Население колонии постоянно увеличивалось. Птицы, потерявшие яйца в начале инкубационного периода, возвращались, отыскивали своих партнеров и снова принимались за постройку гнезд — работу теперь беспозлезную. Форбэш не мог понять, к чему им эти хлопоты, и объяснил это велением инстинкта, управляющего их жизнью.

«Черт возьми. Стремлением выжить можно объяснить все что угодно. Любое действие целесообразно с точки зрения борьбы за существование. Но почему?» Он выяснил, что годовалые пингвины, которых можно было узнать по белым перьям на шее (черные, «взрослые» перья появляются у них при первой линьке), строят свои неряшливые гнезда для «практики», а также для того, чтобы привыкнуть к месту, куда они вернутся в следующем году. Форбэшу пришло в голову, что для проверки этого предположения следует замаркировать группу годовалых пингвинов и отметить места, где они строят свои «экспериментальные» гнезда. Тогда его преемники смогут выяснить причину возникновения территориальных притязаний.

Издаലെка до него доносился голос Старшота, бранившего собак, но он, полускрыв глаза, продолжал сидеть, прислонясь спиной к своему камню. «По крайней мере, я снова начинаю ощущать себя ученым. Надо пораскинуть мозгами, почему поморники не кладут яйца раньше пингвинов? Птенцы пингвинов в течение первых двух-трех недель жизни будут менее всего защищены от нападений поморников, так что у тех будет возможность получать пищу в изобилии. Тогда почему бы поморникам не высиживать своих птенцов пораньше, чтобы воспользоваться этим обстоятельством? Но все дело в том, что, хотя часть поморников и промысляет в пингвиньей колонии, большинство их кормится в ином месте, а те, кто добывает себе пищу здесь, не позволяют промыслять в колонии остальным. Выходит, пингвины — не основной источник пищи для поморников и, поскольку неестественно ожидать, что образ жизни горстки поморников разительно отличается от образа жизни остальных птиц этого рода только потому, что у них есть возможность разжиться на дармовщину, то, следовательно, связь поморников с пингвинами случайна. Поморники, ищущие легкой наживы, представляют собой подлецов первого сорта, напоминают определенный тип людей, которых в обиходе называют подонками. В сущности — что за блестящая идея меня осенила! — в сущности, пингвины даже выигрывают от того, что лишь некоторые поморники нападают на них. Ведь если бы поморники не были настоящим ворьем и если бы во всей колонии не хозяйничала лишь горстка их, то ее обитатели подвергались бы нападением сотен поморников, которые мигом перебили бы всех пингвинов. По сути дела, это тот же рэккет. Поморники говорят пингвинам примерно следующее: «Слушайте сюда. Мы будем охранять вас от остальных поморников, но вы зато не должны

возражать, если мы иногда поживимся яйцом или цыпленком. Идет?» Ай-ай-ай. Ну и голова у меня!

Я сделал большой вклад в науку. Все всегда предполагали, что поморники кормятся одними лишь пингвинами и оттого гнездятся неподалеку от них. Никто не видел, чтобы они промышляли в море рыбой ловлей. Я тоже не видел, зато наблюдал, как они рыбу отрывают. Выходит, они прилетают со своей добычей с моря.

Ха-ха! И потом, период высиживания птенцов у них даже никак не привязан к циклу жизни пингвинов! И все равно ненавижу этих подлых поморников! Я сделал вклад в науку. А ну, пошли вон, убийцы!»

Вскочив на ноги, он швырнул камень, стараясь попасть в двух поморников, сидевших на камне ярдах в двадцати от него. Каждая жила в его теле ныла, в голове гудело, в пальцах отдавало острой болью. Шатаясь, он снова сел наземь. «Проклятье».

Рядом с ним со вздохом осел сугроб снега, мостом соединивший два гнезда: его подточила струйка талой воды. Снег таял быстро, и струйка превращалась в ручеек. Сугроб на глазах у Форбэша обвалился в полудюжине мест. Потоки создавали настоящее наводнение. Он заметил, что стоящие неподалеку пингвины тревожно поглядывают по сторонам и себе под ноги, и догадался, что вода начала заливать их гнезда. Как и буран, потоп невозможно было предотвратить. Его нужно было перетерпеть. Несколько птиц, селившихся в сырых лощинах, похоже, строили новые гнезда там, где повыше, чтобы перенести туда яйца. Другие пингвины оставляли свои гнезда, затем, помедлив, прыгали на еще не успевший растаять снег и отирались к морю.

Как быстро все это происходит, подумал он. Неожиданно и беспощадно. Поморники набрасывались на яйца, пытались утащить их, но если после нескольких свирепых ударов по скорлупе они убеждались, что плод внутри слишком велик и его нельзя высосать, оставляли их на месте. Некоторые пингвины, несмотря на то что вода доходила до лап и почти заливала яйца, стойчески продолжали сидеть в своих гнездах. «Благослови вас бог,— проговорил Форбэш.— Вот так и нужно. Стойте на своем».

А Старшот приближался. Он медленно, но верно шел по усыпанной галькой голой равнине, держа путь к озеру Пони, и время от времени поглядывал в сторону колонии своими добрыми немигающими глазами. Форбэш вышел ему навстречу и остановился, поджидая друга у границ Озерной колонии возле столба с прибитой им доской.

— С Рождеством! — произнес Стар.

— Тебя тоже. Не возражаешь? Только с которым, сегодняшним или вчерашним? Привез бутылки?

— Ага.

— А пиво?

— И пиво тоже.

Старшот снял с саней тюк, сел на камень и достал трубку.

— А перевязочные пакеты?

— Тоже.

— А пакеты от ожогов?

— И их привез.

— Ах ты, мой красав. Хорошо добрался?

— Ничего. Неплохо.

— Ты, наверно, голоден, как волк?

— Да не очень. Но супу бы отведал.

— Как дела на базе?

— Ничего. В порядке. Рад, что вырвался ненадолго.

— Почту мне привез?

— Да, кое-что привез.

— Как собаки?

— Неплохие псы. Спасибо.

— Время-то сейчас неудобное.

— Да я бы не сказал. Ледоход, похоже, нынче задерживается.

— Задерживается? Не может быть. Пингвиной колонии пришлось худо.

— Вот как? А в чем дело?

— Птицы не могут добраться до моря. Они все это время голодали. Теперь, правда, стало полегче. По моим расчетам, возле острова Бофорт начинается чистая вода.

— Так оно и есть. Пожалуй, не стоит отвязывать собак, верно? А то еще загрызут пару-другую пингвинов.

— Ох, уже эти мне собаки! Послушай, Стар, если ты отпустишь хоть одну собаку, я ей перережу глотку. Я ее прикончу. Стар. Псы. Ты их лучше убери отсюда. Уведи куда-нибудь подальше.

— Да нет, это хорошие псы, Дик.

— Хорошие, говоришь? Сам знаешь, какие они хорошие. Понесутся, как сумасшедшие, и давай убивать кого попало. Будь они неладны!

— Успокойся, никого они не тронут, Дик. На, закури. Присядь.

— Хорошо. Спасибо. У нас тут настоящий потоп. Некоторые птицы бросают свои гнезда.

— Гм, гм. Дело плохо.

— Еще бы. А поморники в нынешнем сезоне просто свирепствуют, Стар. Ты только погляди на них. До моря-то этим тварям добираться далеко. Дела были очень плохие.

— Я так и думал, Дик, что не слишком хорошие.

— Пингвины целыми пачками покидают гнезда. Подумать только. В этом году яиц в три раза меньше по сравнению с прошлым годом. А будет еще меньше. Ты только погляди. Посмотри на этого поморника. Он даже не в состоянии сожрать яйцо. Плод слишком велик, а поморники не умеют пользоваться лапами, вернее, они ими по какой-то причине не пользуются. Я хочу сказать, что, когда клюв у них занят, они не могут хвататься лапами за какие-либо предметы. Так что поморник попросту бросит это яйцо, если найдет что-нибудь полегче. Понятно, что тебе сказано? Мне хочется стрелять в этих тварей!

— Это просто живые существа, Дик. Мне кажется, они даже красивы.

— Вообще-то да... Не знаю даже... Черт возьми, Стар, а ведь я должен знать. Ведь, в конце концов, я биолог.

— Конечно, ты биолог.

— Проклятье! Еще один прилетел. Это стервятники нарочно летают так низко. И камнем в них не попадешь. Слишком уж они быстры.

— Так будет и впредь, Дик. И не один сезон. Ты лучше меня это знаешь. Ничего не поделаешь. Закон природы.

— Да. И все-таки я ничего не знаю.

— Пошли, приготовим чего-нибудь пожевать.

— Да, пожалуй. Самое стоящее дело. И, понимаешь, Стар, ты ничем тут не можешь. Они продолжают и продолжают умирать. Ты уже думаешь, что и умирать-то некому, а они все равно умирают. И до чего же тяжело становится жить. А этот запах. Я знаю, что это просто гуано, и в то же время оно отдает чем-то совсем иным. Запах этот душит тебя.

— Верно. Запах ужасный. Ну, пошли. Давай, поедим.

— Ладно. Только, боюсь, у меня слишком грязно. Не успел прибраться.

— Какие пустяки.

— Рама вылетела. Кое-что там поломано. Так что ты уж меня извини.

— Наверно, во время пурги? Видно, наделала она тут бед.

Тебе здорово достается, Дик.

— Да ничего, со мной все в порядке.

Старшот ничего не сказал насчет хижины. Он, видно, вообще ничего не заметил. Просто зажег примус, вскипятил чайник, фальшиво мурлыча себе что-то под нос. Форбэш тоже оказался не очень разговорчивым. Напившись чаю, он улегся на койку. Потом Старшот обошел комнату, собрал все жестянки и бутылки, сброшенные с полок, очистил их от снега и поставил на место. Он приклеил к портрету короля Эдуарда VII и королевы Александры кусок липкого пластыря и прицепил его на стену, потом отряхнул от снега старые спальные мешки из оленьего меха, стряхнул снег со старых носков и штанов Шеклтона. Он смахнул снег с балок и подоконников, с печи, котелков и остатков шеклтонского тостера. Он подмел засыпанный снегом пол возле угла, отгороженного Форбэшем для себя. Но тот ничего этого не слышал: он спал. Потом привел в порядок книги и бумаги Форбэша, вымел снег с полок и буфета. Вычистил хорошенько то, что осталось от бутылочного ксилофона, и аккуратно убрал в сторону уцелевшую колбу, некогда принадлежавшую профессору Т. Эджуорту Дэвиду, смел весь снег и мусор в кучу возле двери, а потом, погрузив в старую картонную коробку, вытащил во двор. Затем пошел к саням, распаковал свой тюк и начал разгружать всякую всячину: бутылки, стаканы, бинты и перевязочные пакеты, почту, рождественский кекс, сигареты, спиртные напитки (чего тут только не было: виски, вино), замороженный трюфель в тарелке из фольги, рождественский пудинг, завернутый в мешок, три ушитанных утки, большой желтый круг сыра, мороженые устрицы, зеленый горошек, бобы, клубнику и крохотную елку. Когда жаркое было готово, он, растолкав Форбэша, позвал его к столу.

— Жратва готова, Дик. Жратва на столе.

— Только избавь меня от своих американизмов.

— Тогда наваливайся на еду.

— Извини меня. Черт подери, да ты и прибраться успел.

Извини, Стар.

— Ладно, хлебай свой суп и заткнись.

— А откуда у тебя елочка?

— Из Крайстчерча прислали целую ель. Вот я и отхватил кусочек для нас.

— Подарков нет. Это хорошо. Похоже на мое варево, только вкус другой. Чем ты занимался все это время?

— Работал с собаками да бродил по шельфу, в основном занимался триангуляционными съемками. Так себе работенка. Я де-

лал съёмочные станции и устанавливал динамометры. Видишь ли, в следующем сезоне мы снова сможем их проверить и тогда выясним величину сдвига шельфа.

— Почта! Где же моя почта?

— Да вот она. У тебя перед носом.

— Ну конечно же! Послушай. Почему бы нам на пару дней не прокатиться на ту сторону Пролива? А? Давай смотаемся отсюда на время.

— О'кей.

— Тогда поедем в сочельник. Черт подери! Что это, интересно, спрятала туда мать? Она никогда не умела делать пакеты. Пляжное полотенце! Ну и ну! Она, видно, думает, что я собираюсь тут купаться. Ты знаешь, профсоюз новозеландских рабочих почти три года преследует меня за неплату членских взносов. И все никак не отстанут. А кому-то взбрело в голову, что я вскоре отправляюсь в свадебное путешествие. Наприсылали разных проспектов с видами уютных коттеджей и уединенных пляжей. Как тут не заскрипеть зубами! Дело ясное. Стоит лишь приехать сюда, как о тебе все вспоминают, не так ли. Теперь насчет Барбары. Ты ведь ничего не знаешь о Барбаре?

— Нет. Что-то новое?

— Да. Новое. Я сам о ней ничего не знаю. Пожалуй, я ее даже не понимаю как следует. Она библиотекарь из университета.

— Не одна из «тех» девиц?

— Ничуть на них не похожа. И очень красива. Не знаю, как тебе это объяснить. Таких, как она, я еще не встречал. Благодаря ей я все время ощущаю самого себя. Когда я был с ней, все мне казалось важным, необыкновенным. Я познакомился с нею вечером накануне отъезда. В самолете я не мог говорить об этом. Слишком был поглощен ею.

— Ты не успел привязаться к ней. Ведь вы были знакомы всего несколько часов.

— Да. Но за эти часы произошло так много. Я все время вспоминаю ее. Думаю. Я не смею вскрыть это письмо. Видишь, как оно вышло. Она всякий раз кладет меня на обе лопатки. Она, видно, знает гораздо больше, чем я. И потом, у нее чудесная кожа. Мягкая, нежная, как у младенца.

— Ты держись, а не то пропадешь.

— Понимаешь, это какая-то попытка. То есть все время поминишь те чувства, которые ощущал в ее присутствии.

— Знакомая история.

— Она ни во что не верит. Ни в бога, ни во что другое. Но, похоже, она что-то знает, она как-то спокойна внутренне. Слово ей известна какая-то тайна. Возможно, это лишь иллюзия. Мне, видно, надо поверить в то, что она чему-то верит или что-то знает, а то мне все время кажется, что я ничего не знаю. Сколько часов я просиживал тут, ломая голову то над тем, то над другим! До чего хорошо, что теперь я не одинок.

— Ничего, все у тебя будет в порядке.

— Я это знаю, знаю. Все будет в порядке, но я по-прежнему ломаю голову. Ты прости, что я все об одном и том же. Это вовсе не чувство вины. Я имею в виду, по отношению к ней. Просто я рад тому, что у нас было так, как было. Это было чудесно. Но благодаря ей я столкнулся с чем-то таким, чего я не понимал. Я чувствовал это в ней. Назвать это жизненной силой или чем-то иным было бы глупо. Несколько банально... Но то, что я в ней ощущал, было именно ею. И присутствие этой силы я чувствовал и здесь. Все время. И у меня такое ощущение, что сила эта, это начало, словно бы страдает все время. Будто в Барбаре появилось нечто такое, что убивает то самое живое начало, которое возникло и расцветало в ней. Вот каково мне тут. Что-то все время подтачивает меня, мои силы. Подтачивает, подобно ветру и поземке, которые разрушают тут горные породы. И эти льды... От них еще хуже. Кажется, будто тебя привязали к столбу и жгут на медленном огне. Он не очень жарок, но он все тлеет и тлеет и постепенно подтачивает твои силы. Я с таким нетерпением жду, когда лед сойдет. Почему-то мне это кажется важным... Я жду, чтобы лед сошел, освободил нас от своих оков, дал нам расти, есть, жить. И в то же время я этого боюсь, потому что тогда я снова стану ко всему восприимчивым. Будто с меня снята кожа. Но я не должен быть таким, Стар. Я никогда таким не был. Многие годы меня учили тому, как надо анализировать явления, как на них смотреть. И я подавлял в себе разные там сантименты. Но вот они, тут как тут... Прости... Я не смею открыть тебе это.

— Плеснуть тебе в кофе рому?

— Да, это было бы кстати.

— Что ж, считай, что тебе повезло. У меня осталось почти полбутылки.

— Молодец, Стар. Ты, как всегда, такой же флегматичный. Но я знаю, что тебя посещают дурные сны. Я помню, ты мне однажды рассказывал. Ха-ха! Все мы из одного теста сделаны.

— Я не люблю много думать об этом, Дик.

Старшот забинтовал ему руку. Через день-два заживет, сказал он. Раны были не очень глубоки. Останутся только шрамы да, на худой конец, ноготь отвалится. Волдырь на колене присох и не представлял больше опасности. Они отпразднуют Рождество, а потом на пару дней уедут куда-нибудь. Надолго отлучаться нельзя: лед может тронуться со дня на день. Скоро придут суда. У ледоколов работы будет по горло — работы очень длительной, кропотливой. Три мили в сутки или около того. Еще сколько им добираться до острова Бофорт, но, возможно, из пролива они уже видны.

Форбэш лег на койку, прежде чем заслышал храп Старшота, повалившегося на одну из коек, принадлежавших прежним обитателям хижины. Он держал в руке письмо от Барбары, показавшееся ему очень толстым. Прочитав его, он обнаружил, что это очень обычное, нормальное, утешительное письмо. В нем много рассказывалось о родных, погоде, всякой всячине. Барбара писала о своей семье, доме в провинциальном городке в Кентербери, о купанье в прохладных зеленых реках, об иве и соколе, о пшенице, растущей на обнесенном каменной оградой участке и желтеющей на солнце, о рождественских лавках в Крайстчерче, о прочитанных ею книгах, о пьесе, концерте, загаре, новом курьезе, пальнике. Ни слова о любви. Ни слова о нем. Обыкновенное описывание своей жизни. Читая его, он ощутил лишь какое-то теплое приятное чувство.

Она оказалась очень заурядной личностью. Он с облегчением понял, что она не предъявляет к нему никаких претензий. Кроме письма, она прислала небольшую посылку. В ней находились белые льняные платки с его инициалами и элегантным пингвином, вышитым в углу. «Это я сделала», — написала она. И больше ничего. Он почувствовал в сердце такую пустоту, а в конечностях — такую слабость. «Зачем она прислала мне стихотворение? «Не будь таким. Это слишком трагично». Она самая рядовая, обыкновенная женщина. Как быть? О тепло, о покой. Но к чему мне тревожиться? Ведь, наверно, я вновь увижу ее, когда вернусь. Но когда? Когда?»

В Рождество на обед у них был суп из устриц, жареная утка и цыпленок с особой начинкой, изобретенной Старшотом (хлеб, яичный порошок, приправа и рубленные почки), клубника, трюфель, рождественский пудинг и пирог, кекс, ром, ликер, виски и сигареты. Старшот до того перестарался, что его стошнило. Однако он с удовольствием подложил себе клубники и трюфеля. Сигара снова чуть не испортила все дело, но он вскочил и побежал

к собакам, неся им рождественский подарок — лыжную палку. Он поочередно ставил ее перед каждым псом, чтобы тот мог задрать на нее ногу, — роскошь в краю, где нет ни деревьев, ни фонарных столбов.

Вечером он помогал Форбэшу считать яйца: держал регистрационную книгу и карандаш, а Форбэш носком отодвигал птиц. Старшот отмечал количество: четыре палочки перечеркивал пятой, но в конце концов самым неподобающим математику и геодезисту образом (а все потому, что щурил свои близорукие глаза и то и дело хихикал) сбился со счета в центре самой крупной колонии. Поэтому пришлось вернуться и начать все заново, что донельзя взбесило Форбэша. В двадцати семи гнездах они обнаружили тридцать пять пингвинов. У них у всех были синеватые хрупкие лапы, большие головы и вздувшиеся животы. На глазах у людей поморники стащили три яйца и, разбив скорлупу, вытащили наполовину сформировавшихся птенцов. Форбэш со Старшотом принялись швырять в хищников камни, смеясь, когда камень пролетал мимо, а это происходило всякий раз. У Форбэша сразу поднялось настроение. Ведь теперь он был не одинок. Приблизжались суда. Лед ломался. На приае вдоль берега Доступности появилось семнадцать тюленей. Яркое солнце стояло высоко в небе. Все шесть пар поморников благополучно высидывали свои яйца; самцы галантно и регулярно кормили своих супругов. Черт возьми. Жизнь хороша и солнце высоко. И рука почти зажила, и погода почти теплая.

В сочельник, проснувшись спозаранку, они упаковали кое-какие вещи и поспешили к собакам. Санки неслись, описывая трюгольники. Сперва они направились к югу, потом плавно повернули в северо-западном направлении. Вскоре отчетливо стали видны горы, хотя они добрались лишь до середины Пролива (до другого его берега пришлось бы из-за тяжелых торосистых льдов добираться несколько дней). Затем они свернули на северо-восток и увидели ледовый караван. Одно, два, три, четыре, пять судов — целый флот — двигались вперед за тремя ледоколами во главе с могучим американским ледоколом «Глэйшиер». Он был крупнейшим в мире ледоколом до тех пор, пока русские не построили еще более мощное судно — атомоход «Ленин». За «Глэйшиером» шли два ледокола класса «Уинд» (они были в два раза меньше его), за ними — новозеландское нефтеналивное судно, сопровождаемое американским военно-морским транспортом. Суда представляли собой лишь пятна на горизонте и только благодаря необычной прозрачности воздуха виднелись столь отчетливо, что

клубы дыма, вырывавшиеся из трубы каждого из судов, походили на дым самого Эребуса.

Они разбили на льду лагерь и прожили в нем два дня. Набегавшись на лыжах и пешком, Форбэш вовсе обезножел и спал крепчайшим сном. Рука у него почти зажила. Всякий раз перед отходом ко сну собаки исполняли свое «хауло», хором издавая ряд дрожащих воплей, похожих на волчий вой, то высокими, то низкими голосами. «Запевалой» всегда была красивая бурая сучка Кари (это имя, означавшее «христианин», дали ей гренландские эскимосы). Она задирала голову, и из глотки ее вырывался высокий мелодичный вопль. Остальные собаки подхватывали этот вопль, и окрестность наполнялась печальной, за душу хватающей песней. Потом они миглом замолкали, наступала полнейшая тишина, и тут Форбэш засынал. Он по-прежнему чувствовал себя одиноким.

— Тебе когда-нибудь бывает одиноко, Стар? — спросил он, когда они в последний раз, не дойдя каких-то пяти миль до хижин, сделали привал, чтобы отхлебнуть из термоса кофе и закусь шоколадом и сытным фруктовым кексом.

— Не могу сказать. Очень плохо мне не бывает. Ведь со мной всегда собаки. Они или ссорятся, или работают, или делают что-нибудь еще. Видишь, какое дело. Подойдешь к ним, задашь им взбучку, если они устроят меж собой потасовку. Они успокоятся, помирятся с тобой, и тебе опять становится легче на душе.

— Но тебе снятся сны, Стар. Ты сам мне рассказывал. Или ты из породы толстокожих?

— Да, я толстокожий, Дик. Но что в том плохого? Я должен жить, не так ли? Ну хорошо, мне снятся всякие сны. Что из этого? Тебе-то что до этого, приятель? И вообще, заткнулся бы ты... Прости, Дик.

— Пустяки. Я сам виноват. Ну, тронули. Мне нужно приниматься за работу.

— Пошли, собачки, фьить, фьить...

Полозья барабанят по льду, сани подсакаивают, перепрыгивают через трещины. И все время слышен царапающий звук — это удары собачьих лап по насту. И всякий раз, как они натываются на сугроб, в рот им набивается снег. Острые кристаллы режут, кровячат собачьи губы. И если посмотреть вниз, на ослепительно-белые холмики, а не в сторону горизонта, то увидишь на снегу алые полоски крови. Черная громада Мыса все ближе, все желаннее. И вы ощущаете свой бег, слышите удары бича среди огромных гор и долин, катящихся под ноги. Вы мчитесь

по ним и среди них в ровном ритме упряжки. Снежные дюны все несутся и несутся навстречу, и вы чувствуете себя так, словно попали в ловушку и теперь бесцельно блуждаете среди гигантских, рушащихся на вас снежных громад.

Переночевав в хижине, Старшот упаковал свои вещи.

— Не забудь отправить мои письма, Стар.

— Ладно. Не беспокойся, Дик.

— О'кей. Я рад, что ты меня навестил.

— И я рад был побывать здесь. Останься я в Рождество на базе, переписался бы, только и всего. Там бы такой кавардак устроили. И прибираться бы не стали. Не перевариваю.

— Послушай. Ты многое сделал для меня. Я снова стал человеком. Только, пожалуй, такая поездка для тебя трудновата.

— А ты живи попроще, приятель. Ты сам знаешь, все обойдется. Не принимай этих птиц близко к сердцу. Пока.

— Пока.

Он даже не стал восстанавливать полифоническую машину «Пингвин-мажор».

**10** З ЯНВАРЯ НА МЫСУ СОВСЕМ НЕ ОСТАЛОСЬ снега. В девять утра Форбэш, выйдя из хижины, побежал вниз по усыпанному гравием склону, к берегу озера. Лед под ним провалился, и он выше колен очутился в воде. Смеясь он вернулся назад, к хижине, чтобы переодеться. Ветра не было, температура поднялась до восьми градусов тепла, и в колонии насчитывалось сто восемьдесят семь птенцов. Он отправился в колонию, сняв ветронепроницаемую одежду, ногам в подбитых мехом сапогах на мягкой подошве было тепло. Он уселся на своем троне среди камней и стал наблюдать за цепочкой судов, медленно продвигавшихся к югу от Мыса. Они находились в каких-то двадцати милях от мыса Эрмтейдж. Вертолеты, похожие на ярких красных мух, жужжа, летали взад-вперед между караваном и станцией Мак-Мёрдо. Иногда они пролетали над колонией и садились позади нее, на холме, выплевывая с полдюжины очкастых моряков. Проведя здесь с полчаса, фотографируя пингвинов и хижину Шеклтона, они снова улетали прочь. Форбэш часто поглядывал на суда в бинокль, благоговей перед мощью леодоколов, неустанно, вновь и вновь штурмовавших лед. Он сочувствовал им, когда они лома-

ли лед, забираясь на льдину, которая дробилась на куски, разбрасываемые затем в стороны мощной струей воды из-под винтов. Ему страстно захотелось оказаться среди людей, когда он увидел, что караван остановился: ледоколы уткнулись носами в кромку ледяного поля и команды судов смогли выбраться на льдину, чтобы разводили костры, пить консервированное пиво, играть в футбол.

Но 3 января суда были заняты делом: они спешили на юг. Форбэш чувствовал, как он тает под лучами солнца. Он поворачивался к нему, словно листья, поворачивающиеся навстречу новому дню. Он снял с себя всю одежду и нежился в тепле и свете, положив голову на сапоги, удрученный бледностью своей кожи, не успевшими сойти синяками — следами ушибов во время пурги — и серыми пятнами грязи. Солнце было антисептическим, исцеляющим и обезболивающим средством. Он закрыл глаза, отдавая ему всего себя.

В нем проснулись чувственные воспоминания, и вслед за тем его охватила какая-то тоска. Тоска от того, что тело его бледно, избито и грязно, что он не смугл и в нем не кипит жизнь, как должна она кипеть в человеке, от того, что Антарктика иссушила его стужей и ветрами, обожгла его светом, который не гаснет ни днем, ни ночью. Он чувствовал, что очерствел, стал получеловеком, потому что жил одними лишь мечтами; он поседел, потому что край этот отнял у него молодые годы; утратил жизнерадостность, потому что лишился человеческого тепла и всего того, что существует в тех широтах, где растут деревья и рождаются женщины.

«Тут человеку не место. Я скоро уеду отсюда. Осталось всего восемь недель, потом я уеду. Покину здешние места навсегда. Я свое дело сделал».

Воспоминания снова захлестнули его, пронизав каждую клеточку его тела.

«Солнечное тепло — вот что единственная тому причина. Солнечное тепло. Что же я теперь за человек? Насколько я изменился? Что со мной будет под конец? Едва лишь я разделся, как мое тело бурно реагирует на солнечное тепло. Я даже не в силах управлять своими эмоциями. Мой разум не в состоянии на них воздействовать. Как это произошло? Неужели на меня так повлияли здешние края? Я ничем не лучше пингвинов. Они живут солнцем, ориентируются по нему, узнают нужные им направления по меридиану, определяя долготу на основании своей реакции на солнце. Ритм солнечного бега готовит их к размножению,

посылает их то на юг, то на север, управляет и направляет их. Вот и я тоже. Лежу, и я бессилён перед мощью солнца. Мой могучий, кипящий мыслями ум не имеет никакого значения».

Форбэш вздрогнул, но не от холода, а от какого-то неприятного ощущения. Быстро одевшись, он неуверенно остановился среди камней. «Какой во всем этом смысл? Зачем я это делаю? Зачем я здесь? Я должен знать. И я, пожалуй, знаю. Я чувствую, что ответ на этот вопрос где-то совсем рядом, но я не могу его отыскать». Разум его, казалось, оторвался от тела, он удалялся куда-то на север, несясь надо льдами... Вдруг дикий вопль поморника ударил его по барабанным перепонкам. Он содрогнулся, очнувшись. Ему стало не по себе.

Форбэш наблюдал за поморником, сидевшим на соседней скале и беспрестанно бросавшим быстрые взгляды на колонию, находившуюся внизу. Внезапно он взлетел, расставив крылья и вытянув ноги, сделал круг, на мгновение приземлившись, хватил крохотного птенца из гнезда пингвина, занятого дракой с соседом, и вернулся на свою скалу.

Поморник проглотил птенца целиком, ухватив его за голову. Горло птицы конвульсивно сжималось... Наконец, в глотке хищника исчезли и ноги, все еще продолжавшие колотить по воздуху.

Форбэш не ощутил ничего кроме знакомой жути, прежнего, никогда не покидавшего его ощущения того, что он жертва.

Целую неделю он только и делал, что работал. Он заставил себя забросить чтение, перестал думать и каждый день начинал с того, что заранее составлял перечень дел, которыми надо заняться. Он сократил периоды наблюдения до часа утром и часа вечером и начал систематически взвешивать специально замаркированных птенцов. Он отмечал количество кормежек, сравнивал прибавку в весе первого и второго птенцов, высиденных в каждом гнезде, и пытался определить, насколько больше шансов выжить у птенцов, которые вылупились раньше и, выходит, крупнее и старше своих братьев. Двое суток с севера дул ветер, взламывая припай к югу от Птичьего мыса; течение подхватывало льды и уносило их на север. В пяти милях виднелась чистая вода. Наконец-то Форбэш увидел ее.

Жизнь, казалось, стала теперь много легче. Форбэш вошел в иной ритм мыслей и действий; он был полон надежды на скорый приход моря и гордости за пингвинов и их окрепших, упиртанных птенцов. Весь облик пингвиной колонии преобразился. Кратеры гнездовой были запачканы звездообразными пятнами красного гуано — признак того, что пингвины и их птенцы пита-

лись рачками. Дни были наполнены восхитительной музыкой — посвистыванием подрастающих и крепнущих птенцов, которые своими дрожащими голосками неумолчно выводили нежную мелодию.

Работа с птенцами придала ему новые силы. Насилуя себя, хотя и зная, что это неизбежно, он произвел анатомирование нескольких только что вылупившихся птенцов, чтобы определить размер желточного мешочка, который они заглатывали, прежде чем вылупиться. Это был запас пищи на случай, если родитель-добытчик задержится. По-видимому, каждый птенец рождался с запасом еды, достаточным для того, чтобы продержаться три-четыре дня до первой кормежки. На подросших птенцах он испробовал новую систему клеймения: в перепонках ног он пробивал пуансоном отверстие, что забавляло его и, похоже, не причиняло птенцам никакой боли.

Когда появились на свет первые птенцы поморников, он продлил свой рабочий день на два часа, чтобы по вечерам наблюдать за гнездовьями поморников. Эти птицы, враги пингвинов, были столь же жестоки и по отношению друг к другу. Ни в одном из шести гнезд, находившихся на территории пингвиной колонии, в которых самки поморников высиживали яйца, второй птенец не выживал больше трех дней. Первенец, благодаря своему весу и силе, получал большую часть пищи, приносимой обоими родителями по очереди, и поэтому ему впоследствии удавалось вытолкнуть из гнезда своего братца, которого тотчас пожирала соседка-поморница. Уцелевших птенцов одному из родителей приходилось постоянно стеречь. Окрепнув и выросши достаточно, чтобы стоять на ногах и клеваться, птенцы поморников сами начинали настойчиво требовать еду у родителей. Форбэш был поражен их свирепостью и жадностью. Он никогда еще не осознавал так остро зависимость жизни одних от смерти других. Он чувствовал себя словно бы в ловушке, в каком-то нескончаемом круговороте, где разница между жизнью и смертью иллюзорна, где мертвое столь же живо, как и явно живое.

К середине января открытое море было всего в трех милях от берега, но близость его не принесла пингвинам облегчения, и Форбэша снова охватило какое-то отчаяние. Его чуть не стошнило однажды вечером, когда он взвешивал птенца поморника после кормежки. Тот срыгнул ему прямо на руки смесь рыбьего жира и пингвиного мяса. Не понимая гнусности совершенного им убийства, поморник поуютнее устроился в его ладонях, упитанный, покрытый пятнистым пухом, с ногами, торчащими, точно

палки, с уже большим, хищным клювом и округлыми, блестящими и твердыми глазами.

Он знал, что пингвинятам скоро будет еще хуже. Они должны были вот-вот выйти из-под опеки своих родителей, которые поочередно охраняли птенцов, и объединиться в стаи, где, благодаря своей многочисленности, они обретали известную безопасность. Родители же их отправлялись в море на рыбную ловлю, чтобы удовлетворить возросший аппетит своих чад. Вконец обнаглевшие поморники будут теперь следить, не отбил ли кто-нибудь из пингвинят от стаи, не отстал ли кто-нибудь из тех, что послабей.

К концу периода опеки Форбэш изучил цифры, отражающие население колонии. В ней нынче насчитывалось всего пятьсот тридцать птенцов — на треть с лишком меньше, чем в прошлом году. Огорченный, он занялся своим изобретением «Пингвин-мажор» и вновь соорудил бутылочный ксилофон, восхищенный звуком, издаваемым стаканами для виски. Он сократил время наблюдения над птенцами поморников и за счет этого стал музицировать.

Но музыка мало помогала, и он начал совершать пешие вылазки на припай, исследуя трещины, или же отправлялся вдоль берега на север, чтобы взглянуть, не приблизилось ли открытое море. Айсберг, сидевший на мели к югу от Птичьего мыса, течениями из моря Росса унесло на север, и теперь в проливе стало как-то просторно и голо. Наконец-то он нашел ответ на один вопрос, который уже несколько недель мучил его. Вычитав время полета поморников после того, как они покидали гнезда, он определил, что на то, чтобы слетать к морю за едой, уходило полтора часа. Однако иногда они улетали на полчаса еще куда-то, причем не за едой, так как не приносили птенцам пищи.

Он обнаружил, что поморники используют озеро Прибрежное, находящееся в трех четвертях мили к северу от пингвиной колонии, в качестве плавательного бассейна и цирюльни. На озере, очистившемся от льда, собиралось, самое малое, сто поморников. Понаблюдав за ними несколько часов одним тихим золотистым вечером, он заключил, что птицы слетаются с базаров, находясь много севернее и южнее Мыса, и что здесь собираются и «холостые» птицы. Здесь был уютный, укромный уголок, ко всему, расположенный недалеко от моря и мест рыбного промысла. Форбэш сел на холмик на высоте ста футов над озером и в шестидесяти — семидесяти футах южнее его и стал наблюдать

за поморниками, которые резвились и прихорашивались, летали и кружились над озером, словно играя в пятнашки, купались, обливая водой свои взъерошенные перья, или же стояли на берегу, занятые столь тщательным туалетом, что это заставило Форбэша, наблюдавшего их стремительный полет, задуматься, не затевают ли они что-то недоброе. Он чувствовал себя лазутчиком, пробравшимся в тайный вражеский штаб. Залегши среди камней с биноклем в руках, он внимательно приглядывался к манере полета вновь прибывших птиц и к тому, как они купаются и охорашиваются. Он почувствовал свою власть, которую ощущаешь тогда, когда ты все видишь, не будучи сам замеченным. Так вот где противник набирался сил, готовясь к новым нападениям. Вооружившись этими знаниями, Форбэш мог теперь разрабатывать план наступления.

Кромка льда была не более чем в миле от озера Прибрежного. Глубокая синева моря была какой-то особенной, словно чистое голубое пламя сияло среди белизны льдов. В спокойной глади озера отражались горы, и даже сам Эребус упал туда вниз головой. Форбэш побрел домой ужинать и писать письма.

«Дорогая Барбара! Спасибо за рождественское письмо и платки. Хотя у меня и очень туго с платками, я не осмеливаюсь сморкаться ни в один из них. Не хочу осквернить их. Мне было интересно узнать, какова ты на самом деле. Твое письмо помогло мне. Внезапно я многое понял в тебе. Видимо, это будет последнее письмо, которое ты получишь до моего возвращения. Вероятно, я вылечу где-то в конце следующего месяца — то есть через какие-то шесть недель. А за это время вряд ли здесь будут часто появляться вертолетчики с базы Скотт. Пожалуй, я слишком официален и церемонен с тобой. Прости. Это, наверно, потому, что я слишком одичал. Теперь я не могу даже предаваться мечтам. Я чувствую себя таким издерганным. Мне хочется чуть ли не причинить тебе боль. Теперь не может быть и речи о таких вещах, как любовь хорошей женщины. В нынешнем году пингинов подрастает гораздо меньше, чем когда-либо раньше. Это из-за льда и поморников. Вот я и собираюсь строить катапульта. Я им задам взбучку. Это моя собственная гениальная идея, мой вклад в науку. Я всегда знал, что кое на что способен. Так оно и вышло. Уж если я смастерил полифоническую музыкальную машину, которая действует (к сожалению, я не могу привезти ее домой), то с гигантской катапультой я тем более справлюсь. Я не зря так сказал — гигантская катапульта. Я буду обстреливать этих сволочей. Видишь ли, я выяснил, где они собираются. Нынче, всего

каких-нибудь несколько часов назад, я обнаружил место, где они купаются, чистятся целыми сотнями. Там-то я до них доберусь, а то я слишком с ними миндальничаю. Расстреливать их здесь было бы нечестно, к тому же у меня нет ружья. Я оказался бы в слишком выигрышном положении, так что я смастерю себе катапульта и разделаюсь с ними на озере. С меня хватит. Слишком долго выходило по-ихнему. Теперь настал мой черед. Я тебе расскажу, как пойдут дела.»

Р. Дж.»

Запечатав письмо, он решил, что оно вышло не очень удачным, и написал еще одно.

«Я должен повидаться с тобой в начале марта. Я сообщу тебе телеграфом, когда приеду. Ты не возражаешь? Черт возьми, я даже не знаю, хочешь ты меня видеть или же нет. Мы так далеки друг от друга. Осталось ли что-нибудь? Что ты имела в виду, когда писала, что «это слишком трагично»? У меня ноет грудь, когда я пишу и спрашиваю тебя об этом. А в желудке у меня все так и переворачивается. Я жертва. Будешь ли ты там? По-моему, ты даже не все понимаешь. Если бы только получить от тебя весточку! Привет. Всего тебе.

Дик.»

К счастью, на следующий день прилетел на своем вертолете Эл Уайзер и доставил ему письмо, в котором она спрашивала, как он поживает и здоров ли. Она была встревожена его письмом, написанным во время пурги. Нет. Она вовсе не праздновала труса (черт подери, почему она не может воспринимать серьезно все, о чем он писал). Она подумывала о том, чтобы взять краткосрочный отпуск где-то в начале марта.

Он попросил Эла Уайзера прилететь на следующий день и привезти с собой несколько полос толстой резины или чего-то вроде этого, поскольку он собирался изготовить особого вида капкан для ловли рыб, нужный для выполнения специальной научной программы, что необходимо было сделать, как только море возле Мыса очистится от льда. Этот капкан для рыб не может, дескать, работать надлежащим образом без очень прочного эластичного материала, нужного для того, чтобы дверца захлопнулась. Эл Уайзер поверил ему.

Тем же вечером он повез доски от шеклтоновских стоек и полость старых санок на холм, возвышавшийся над озером Прибрежным. Там он сколотил из них V-образное сооружение высо-

той три фута и прочно привязал к шестифутовому толстому бруску. Он выбился из сил, таща это сооружение.

Форбэш не чувствовал ни малейшего угрызания совести. Объявленная война была справедливой. Ему хотелось построить поворотный стол, с тем чтобы катапульту можно было поворачивать в любом направлении, однако это, очевидно, было ему не под силу.

Вместо этого он укрепил рогатку в груде вулканической породы и нацелил ее прямо на середину озера. К концу балки напротив перекладки катапульты он привязал барабан лебедки, на который намотал кусок репшура. Он должен был оттягивать тетиву катапульты — кусок резины, которую привезет Эл Уайзер. Его смущал способ пуска, и он перебрал различные системы, где использовались крючки, зажимы, шпонки или куски веревки, которые можно было перерезать в нужный момент. Кусок веревки, вернее, бечевки, оказался наиболее простым и надежным средством, хотя с ним и пришлось повозиться. На конце лебедочного троса он заделал огонь. К нему можно было привязать трос, который был прикреплен к праще; та «стреляла» бы двухфунтовым камнем, как только бечевку перерезали. Описав грозную траекторию и пролетев футов семьдесят, камень упал бы у самой кромки озера, прямо в гуще ныряющих, кружащих, плещущихся, плавающих поморников.

После всех этих приготовлений Форбэш пошел домой и вырезал кусок шкуры из шеклтоновского спального мешка на оленьем меху, для того чтобы было куда положить камень. Ему было неприятно портить мешок, но иного выхода не было.

Эл Уайзер не появлялся целых пять дней, что очень расстроило Форбэша. Наконец его красный вертолет пролетел над хижиной. Дверца его была распахнута, и механик бросил Форбэшу пакет, в котором находилось десять футов полуторадиймовой резины для амортизаторов и записка со словами: «Удачной ловли. Эл». Где только они ухитрились достать амортизационной резины, он никак не мог взять в толк. Правда, потом он вспомнил, что как-то раз на одну американскую станцию доставили средство от укусов змей, средство для отпугивания акул и гинекологические щипцы, и после этого перестал ломать себе голову.

Пингвинята быстро сбивались в стаи. Времени у них оставалось немного. Как-то он целых полчаса с интересом наблюдал за ними. Теперь трудно было разобраться, где кончаются границы отдельных колоний, так как в стаи собирались птенцы из самых разных колоний. Насколько он мог понять, немногие взрос-

лые пингвины, еще оставшиеся среди них, плохо выполняли свои обязанности сторожей. Лишь время от времени они дружным шипением отпугивали поморников, садившихся слишком близко.

Некоторые птенцы уже сбрасывали толстый пух, делавший их похожими на крохотных ребятишек в пушистых серых пижамах, когда они вместе носились взад-вперед по камням, дружно откликаясь на зов любого из родителей, вернувшегося с моря с пищей для своего чада. Вообще-то птенцы узнавали своих родителей по голосу, однако зачастую голодные пингвинята преследовали чужого родителя. Они с жалобным криком сломя голову мчались на своих коротеньких ножках, спотыкаясь и падая. Родители никогда не кормили птенцов в стае, а всегда принуждали их соблюдать ритуал погони за пищей, хотя при этом птенцы становились более уязвимыми и были более подвержены нападениям поморников. В нескольких ярдах от стаи запыхавшийся родитель останавливался, раскрывал клюв и срыгивал пищу в напряженно вытянутый клюв птенца.

Однажды Форбэш увидел, как поморники с бреющего полета сбили с ног трех птенцов, бежавших под защиту стаи после неудачной попытки подкормиться. Ухватив птенцов клювом, поморники потащили их в сторону, чтобы добить о камни. (Иногда в таких случаях птенцам удавалось вырваться и с боем распотрошить пингвиненка, который, отбиваясь до самого конца, умирал мучительной смертью, Форбэш, взбешенный, задыхаясь от жаркой аммиачной пыли, щипавшей ноздри, побежал по галечному склону налаживать свою катапульту.

Он работал добросовестно, обращая внимание на каждую мелочь. Привязав два одинаковых куска амортизационной резины к концам перекладки катапульты, он прикрепил к ним пращу, вырезанную из оленьей шкуры. Найдя гладкий овальный камень, он прихватил его к праще двумя кусками бечевки от метеозонда, которые в свою очередь, были привязаны к огону троса, намotanного на ворот. Таким образом, когда бечевку перерезали, камень какое-то время удерживался в праще силой инерции, а потом выбрасывался силой ускорения. Он осторожно закрутил ворот, растянув резину: если резину натянуть слишком сильно, концы перекладки катапульты могут сломаться, а если чересчур слабо — снаряд не улетит достаточно далеко. Он вынул нож и с опаской провел по бечевке.

На озере собралось больше сотни поморников. Ветра, который

мог бы отнести в сторону ядро, не было. Вечер выдался светлый и тихий. Солнце, находившееся позади Форбэша, стояло высоко. «Мишени» четко вырисовывались, а сам он был незаметен, так как сливался с пламенем солнца. Эребус отражался в тихой воде. Лишь иногда дрожала шапка дыма, когда воду будоражил плывущий поморник. Слышая резкие, пронзительные вопли птиц, он с нетерпением ждал, когда на линии прицела на дистанции выстрела появится стая поморников. Не слишком ли тяжел окажется булыжник? Не опрокинет ли отдачей основание катапульты? Заметив, что бечева от зонда и нейлоновый трос ослабли, гася натяжение резины, он повернул ворот еще на один оборот и, присев сзади основания, стал целиться, держа наготове острый нож, чтобы в нужную минуту перерезать бечевку. Пора! Хотя булыжник упал на добрых полторы сотни ярдов дальше той части озера, где было наиболее оживленно, чуть не задев летящего поморника, так что тот с воплем шархнулся в сторону, зато упал он в гладкую воду с оглушительным плеском. Опыненный успехом, с горящими глазами и дрожащими руками, Форбэш кинулся за другим булыжником. Что лучше, выбрать камень потяжелее или же ослабить натяжение? Рисуя в своем воображении картину славной победы, полнейшего разгрома врага, Форбэш решил взять камень потяжелее. Не тратя времени попусту, он закрепил снаряд, до отказа натянув резиновую тетиву. «Ха-ха. Я спокоен и холоден как лед. Наша берет. Пли!» Сверкнул нож, булыжник пролетел к краю озера и, похуже, подшиб поморника, чистившего перья. Когда тот с трудом поднялся в воздух, стало ясно, что хищник действительно ранен. «Попал. Этому досталось на орехи. Я этим паразитам задам».

Следующий снаряд угодил в стаю плавающих птиц, и они бросились врассыпную. Форбэш был взбешен и целых пять минут сердито искал булыжник нужного размера и веса. Им он попал в только что взлетевшего поморника, так что он тотчас рухнул назад в воду. Тремя выстрелами позже он угодил в сборище птиц, которые с тревожными пронзительными криками кружились над облюбованной ими площадкой. Одна из них камнем упала в озеро.

«Ай да я! Ай да голова!» — вопил он, пританцовывая, обращаясь к солнцу и курящей громаде вулкана. Его одинокая фигура выглядела нелепо рядом с безобразной смертоносной машиной. Он и не подозревал, что в это время лед в проливе тронулся и гигантские поля раскалывались и расходились в разные стороны под бесжалостным напором моря, движущегося к северу. Льдины плыли величественно; уже свободные, они стонали, сталки-

ваясь, и закрывали полыньи. Потом поворачивали на север и навсегда исчезали. В озере плавали два мертвых поморника, над которыми с криками кружила туча их сородичей.

«Боже, море! Море приближается!»

Форбэш побежал вниз по склону, оглябывая вулканические скалы, скользкая по гальке и падая. Он даже поранил себе руку об острый выступ, в стремительном, на одном дыхании, движении к озеру — мимо двух убитых птиц, которые покачивались на мелкой волне, поднятой легким ветерком, по краю озера. Потом он добрался до прибрежного холма и вскарабкался на его вершину. Меховую шапку сорвало у него с головы. Из раненой руки на камни капала кровь. Он стоял, разинув рот, и глядел на величественное, целеустремленное движение льдов. Казалось, льды обладают разумом и силой, так спокойно и чинно ожидали они своей очереди. Когда же наступал их черед, они не спеша вливались в поток, уходящий на север. Как только кромку заливалась чистая вода, еще одна льдина отламывалась и уходила в путь.

Южной бухты Подкова, примерно в миле от Мыса, море было свободно ото льда. Через полчаса очистился и весь берег Доступности. Полчаса спустя огромное ледяное поле, находившееся к северу от Мыса, оторвалось и очень медленно начало двигаться прочь от суши. Оно вращалось, словно гигантское колесо, и, проплыв мимо острова Росса, скатилось в открытое море. Форбэш стоял и наблюдал за морем, не замечая ни бега времени, ни движения солнца, не обращая внимания на поморников, круживших над водой, и не слыша их воплей.

Мир вокруг него рушился. Старый, спокойный и привычный ландшафт исчезал: уплыл ледяной торос, что находился возле берега Доступности, и даже сидевший на мели гроулер, послушный какой-то невидимой силе, чинно проплыл мимо него, словно ожидая приветствия и пожеланий хорошей погоды и скорого таяния. Вода между ледяными полями была бездонного синего оттенка, а лед под водой отливал чистейшим изумрудом. В море отражалось солнце — не широкой сияющей полосой, а золотым диском, похожим на начищенную до блеска тарелку на ослепительном голубом атласе. Казалось, протяни руку — и вытацишь его из моря.

У него было такое ощущение, словно он никогда по-настоящему не верил в то, что море придет и Мыс очистится от льда. Казалось, свобода эта ему только снилась, но он не поверил этому сну и теперь действительность потрясла его. Он глядел в воду и на глубине двадцати футов видел камни, усеявшие спуска-

шееся ступеньками дно, видел, как вода касалась прибрежных камней. Поверхность ее была совершенно спокойна и в то же время, казалось, дрожала и чуть заметно двигалась, словно дыша и напрягаясь всем телом, силясь сбросить тяжкое бремя льда. Подводные и надводные камни были гладки, чисты и бесплодны — то была работа льда. На них не было и признаков жизни: не было ни ракушек, ни остатков водорослей.

Была полночь. Форбэш полез назад вокруг скал, пробираясь к берегу Доступности. Он с трудом оторвался от великолепного зрелища, которое представляло собой море. Возле южного конца берега, где лед дробился на мелкие куски, собралось несколько групп пингвинов. Вскрабкавшись на льдину, они добрались на ней до другого конца побережья; там они ныряли в воду и полным ходом мчались к берегу, через каждые несколько ярдов, словно черепахи, высовывая голову, затем карабкались по булыжникам и ледяным глыбам вдоль берега и возвращались назад, чтобы прокатиться на следующей льдине. В ночи громко раздавались их пронзительные возбужденные клики. Форбэш сидел на скале, возвышавшейся над побережьем, с восхищением смотря, как они неслись в воде, точно летящее копье, и ему вдруг страстно захотелось тоже очутиться в воде, захотелось услышать гул прибоев, шум волн, верхушки которых срывает ветер.

Далеко в проливе он увидел семейство косаток; их большие серповидные плавники сверкали на солнце, из дышал вылетали клубы пара, напоминая клубы порохового дыма. В море промышлял одинокий поморник. Набрал высоту, он наподобие олуши падал вниз, но в последнюю минуту мощными ударами крыльев останавливал свой полет, так что в воду погружались только голова и плечи. А в следующее мгновение он снова мчался вперед. К берегу плыли три тюленя. Они ныряли и, резвясь, вертелись друг возле друга. Потом, отвратительно изгибая спины, они выбрались на камни.

«О море, море! Как долго я тебя ждал. Слишком долго!»

**11** ФОРБЭШ ВОССЕДАЛ НА СВОЕМ ТРОНЕ. В бинокль он разглядел морского леопарда, который вскрабкался на льдину и обнаружил кровь в углублении, вытаянном телом отдохавшего перед этим тюленя Уэдделла. Ноздри леопарда раздулись, а его крупная голова закачалась из стороны в сторону. Он сунул нос в лужу крови, и вскоре вся морда его окрасилась в темно-

красный цвет — смесь крови и кристаллов снега. На бледно-палевой груди его и на плечах были видны алые пятна. Тюлень лежал на поверхности воды ярдах в двухстах от побережья. Из раны в животе струилась кровь. Видно, ему удалось скрыться от косатки, решил Форбэш.

Он понял, что, если тюлень еще раз нырнет, то погибнет. Он лежал на гладкой синей поверхности моря, время от времени поднимая голову, и с шумом вдыхал сквозь овальные ноздри смесь крови и воздуха. Он то сжимал ноздри, то опускал голову, глядясь в воду. Если бы тюлень нырнул, то он бы погиб, потому что в брюшной полости у него был поврежден большой кровеносный сосуд. Этот сосуд действовал как обратный клапан, сохраняя кровь, прошедшую сквозь легкие животного, прокачанную сквозь сердце и освежившую его тело, отдав кислород мышцам. Он сохранял кровь до тех пор, пока животное не выныривало, и его легкие вновь не наполнялись воздухом. Сосуд этот позволял тюленю нырять до тех пор, пока не истощался весь кислород, находящийся в крови. После этого он выпускал кровь, и весь цикл повторялся сначала.

Морской леопард беззвучно, без плеска, погрузился в воду и быстро, немного быстрее, чем пингвины, поплыл по направлению к ним. Тюлень в эту минуту нырнул в воду. Труп тюленя всплыл много позднее, а до того времени морской леопард охотился на пингвинов.

Форбэш восседал на своем троне. Вода была так спокойна и прозрачна, что он видел, как морской леопард ныряет, извивается в воде, подбрасывает трупы пингвинов, которых он ловил поочередно, потому что умел плавать чуть быстрее.

Он смотрел, как леопард подбрасывал пингвинов в воздух и на лету ловил их. Своими длинными зубами он хватал труп за шкуру и тряс до тех пор, пока с него не слезла почти вся кожа и перья. Потом он пожирал его. Уцелевшие пингвины, стоявшие на берегу Доступности, громкими встревоженными голосами говорили «Аак», не смея войти в воду.

Наблюдая за леопардом, он мысленно вернулся к гибели тюленя. Почти механически он вновь и вновь восстанавливал в своей памяти это происшествие.

Он увидел тюленя и воду, обогренную кровью. Потом заметил морского леопарда: огромная, покачивающаяся голова, туловище длиной целых десять футов. Хищник лежал на льдине, а тюлень — в воде. Под скалой, на которой расположился Форбэш, плавали пингвины, кормившиеся рачками: их было так много,

что море местами покрывалось оранжевыми пятнами. Пингуинам, можно сказать, оставалось одно: плыть с открытым ртом. Он был очень рад за пингвинов, он радовался их прожорливости (плавая, они объедались, отрыгивали, потом вновь приступали к пиршеству). Но тут морской леопард неслышно скользнул в воду, а тюлень нырнул.

Он разглядел в бинокль, как леопард проглотил третьего пингуина целиком, а потом, не торопясь, поплыл к льдине у южного конца побережья и там залег, высунув из воды макушку головы.

Вскоре группа примерно в тридцать штук пингвинов прыгнула в воду и в тесном строю принялась нырять по-дельфиньи и ловить рачков. Форбэш поднялся и хотел было окликнуть их, но не успел. Леопард ринулся в атаку. Пингвины бросились врассыпную кто куда, но леопард выбрал себе цель и поплыл вдогонку за одним из пингвинов, чуть скорее его. Он плыл к берегу ему наперерез. Пингвин начал изворачиваться и кружить, но леопард не отставал от него, а наоборот, сокращал расстояние. Пингвин принялся быстро делать круги диаметром футов в двенадцать; тогда леопард стал описывать круги еще большего диаметра. Выбившись из сил, пингвин замедлил ход. Леопард вцепился в него своими острыми зубами, подбросил в воздух и начал трясти, чтобы содрать с пингуина кожу. Потом он проглотил пингуина, и в эту минуту ярдах в пятидесяти от берега всплыл труп тюленя.

Морской леопард медленно подплыл к тюленю, схватил за шею и начал трепать его. Сперва он отделил от туловища полосу мяса с желтым жиром толщиной в два дюйма, потом, впившись еще глубже, отодрал эту полосу, прошедшую через всю грудь тюленя. Потом оторвал кусок от плеча до брюха, и тут несколько галлонов крови из поджелудочной артерии тюленя выплеснулись в море, точно чернила из каракатицы, совершенно скрыв из виду леопарда.

Хищник полчаса продолжал терзать труп тюленя. На этот пир собралось сто с лишним поморников. Они выхватывали из воды кусочки мяса, жира и внутренностей, не замочив перьев и почти бесшумно. Отчетливо слышны были лишь удары их крыльев да мощные всплески морского леопарда. Полчаса спустя хищник улегся на воду и целый час лежал неподвижно возле полубогданного трупа тюленя, медленно дрейфуя к северу, меж тем как поморники, по-прежнему беззвучно, продолжали подбирать остатки пиршества. Потом леопард ткнулся носом

в тюленя, выхватил у него из спины еще один небольшой кусок и нырнул. Больше Форбэш его не видел.

Поздно вечером 29 января семь пингвинов, только что успешных сбросить пух, собравшись на берегу, глядели в воду, явно намереваясь отправиться в северные воды. Форбэш посидел на троне до тех пор, пока они не вошли в воду и не начали плескаться. Перекликаясь, несколько минут спустя они вернулись на берег. Четверо пингвинов присоединились к своей стае, а трое (на всех троих были надеты пронумерованные повязки) остались возле воды.

На следующий день поздно утром Форбэш спустился к берегу, старательно обойдя лужу возле шеклтоновской мусорной ямы, где валялись ржавые жестянки, битые бутылки, выцветшие тюленьи и пингвиные кости и обломки допотопного автомобиля. Трех птенцов нигде не было видно. Тщательное обследование стай также не дало никаких результатов. Выходит, это были первые из тех четырехсот девяноста двух птенцов, которые поплывут впоследствии на север. Форбэш ощутил чувство какого-то удовлетворения.

Большинство птенцов теперь свободнее разгуливали по территории колонии. Теперь они были достаточно велики, чтобы обороняться от нападений поморников. Да и родители кормили их реже. Они были грязные, неопрятные. Ключья пуха, не успевшего вылезти, перемежались местами с их «взрослым» черно-белым оперением. А некоторые из них, хотя и довольно ушитанные и рослые, еще даже не думали сбрасывать с себя пух.

Возвращаясь после кормежки к своей стае, один из таких птенцов подвергся нападению поморника и был сбит с ног. Птенец достигал десяти дюймов роста и весил около четырех фунтов. Когда поморник сшиб его, он упал, извиваясь, на спину, стараясь разодрать грудь врага лапами; он клевался, бил ластами, в ужасе пронзительно свистел. Скатившись в лужу гуано и талой воды, покрытый свалевшимся, мокрым пухом, он, спотыкаясь, поднялся на ноги, чтобы отразить новое нападение противника. На этот раз поморник ударил своим мощным клювом спереди, затем последовало несколько свирепых ударов крыльями, так что птенец снова свалился в лужу. Пингвиненок серией отчаянных ударов ласт сбил поморника с ног и бросился бежать, но от удара ногами покотился вниз по пыльному склону в сторону от своей стаи. Когда он остановился, поморник ударил его еще раз. Потом схватил птенца за шиворот и начал трепать его,

для равновесия взмахивая крыльями. Птенец перестал кричать. Когда поморник отпустил его, он начал изо всех сил клевать его в грудь. Поморник фута на два поднялся в воздух, и птенец бросился бежать, но по пути был сбит и ударился о камень. Пух слезал с него клочьями, голова и шея были окровавлены. Он свистнул еще раз. Поморник снова схватил птенца за шею и принялся трясти его, норовя ударить о камни, хотя с трудом мог поднять его. Из ран на шее струилась кровь. Удары ласт пингвиненка становились все слабее и слабее. Прошло минут пять. Поморник отпустил птенца. Тот упал на спину и начал клевать хищника в грудь, вырвав несколько пучков перьев. Поморник своим страшным клювом ударил птенца в горло, выбил ему глаза. Минут пять он колотил птенца о камни — колотил до тех пор, пока он не перестал клеваться или отбиваться лапами и остался лежать на земле, судорожно подергивая лапами. Тут к поморнику подоспела супруга. Она держала птенцу голову, в то время как самец, выклеывая пух, пробивал в его животе отверстие. Сперва обнажился слой жира на груди, потом темно-красное мясо. Подергивая головой и судорожно глотая, поморник вырывал клочья плоти и пожирал, потом он прижал птенцу одну ногу, в то время как другая слабо вздрагивала; между тем самец все глубже впивался в грудь и живот птенца, выдирая внутренности. Голова его и клюв были залиты кровью и розовато-белыми остатками последней трапезы птенца. Лишь теперь птенец умер. Поморники вскоре бросили его.

Форбэш с полчаса бродил по территории колонии, зловонный запах впивался ему в ноздри и горло, и когда он добрался до озера Пони, его стошнило. Он вымыл губы и бороду озерной водой, стараясь, чтобы ни одна капля не попала ему в рот. Во рту он ощущал кисловатый вкус.

Он некоторое время постоял, разглядывая дощечку с надписью «Полярная ферма по выращиванию пингвинов», вконец вылинявшую и выцветшую. Шест, к которому она была приколочена, покосился. Потом поднялся по северным склонам, пересек колонию, где гнездились поморники. С пронзительным жалобным воплем на него ринулся поморник. В нескольких ярдах ниже на покрытом гравием склоне в лощинке что-то шевельнулось, но что именно, он не смог разглядеть. Он постоял неподвижно, в то время как поморник продолжал кричать над его головой. Он пристально разглядывал груды камней, где заметил движение, и увидел, что там вновь что-то шевельнулось. Это был птенец-поморник, наполовину облачившийся во «взрослое» оперение, нервно

вертевший головой. Едва различимый среди камней, он согнулся, растопырив крылья. Форбэш спустился к нему вниз по склону, преследуемый воплями поморников. Птенец пополз прочь, волоча свои тощие ноги, растопырив для равновесия крылья, касавшиеся земли, вытянув свою змеиную голову. Форбэш прибавил шагу, громко хрюстя по гравию подошвами маклаков. Птенец раскачиваясь бросился бежать вниз по лощинке, а Форбэш припустил за ним. Поморники продолжали пикировать, целя ему в голову. Оказавшись на дне лощинки, птенец присел и на мгновение замер. Тут Форбэш схватил его с колотящимся сердцем, тяжело дыша, прижал его к камням. Он поднял птенца, держа его подальше от себя, чтобы тот не запачкал его своими экскрементами, потом придвинул к себе. Он ощущал его жилистую шею, каждый позвонок которой выделялся под перьями и пухом. В ладони его отдавалось биение сердца птенца. Он обхватил его за шею большим и указательным пальцами, а ладонью другой поддерживал грудь, так что ноги поморника висели в воздухе. Правой рукой он крепко схватил птенца за крылья и надавил ему на спину. Поморник, усевшись на соседний камень, только кричал, но больше уже не кидался на человека.

Форбэш сидел на камнях. В лощине пригревало, и у него под толстой рубахой выступила испарина. Пот выступил даже на обожженном солнцем и морозом лбу, под спутавшимися, всклокоченными волосами. Худое его тело вздрогнуло, потом отдалось теплу и истоме. Птенец нервно крутил головой, потом зевнул, открыв свирепый черный клюв с великолепным изгибом. Он взглянул на Форбэша твердыми черными глазами, потом уставился вдаль, глотнув, так что Форбэш почувствовал, как под рукой у него шевельнулись обтянутые тощей кожей позвонки. Поморник молча сидел на камне. Кроме них в безветренной лощине не было никого. Форбэш глядел на вершину Эребуса, и ему вдруг страстно захотелось туда подняться.

«Не будь таким, Форбэш. Все это слишком безнадежно. Слишком трагично». Когда ему исполнилось десять лет, отец подарил ему книгу по анатомии в полной уверенности, что сын станет доктором. Он не мог правильно произносить латинские названия и то и дело приставал к отцу с вопросами. Однажды в кустарнике в дальнем конце сада он нашел полуразложившийся труп кошки. Получив от матери разрешение разжечь костер, он, сделав вид, что стряпает, принялся варить труп кошки. Варил до тех пор, пока с костей не сошло мясо. Потом он высушил кости на солнце и по учебнику анатомии выучил почти все их названия. Он

был опьянен знаниями и поражал ими всех. Отец очень гордился им и подарил еще одну книгу — учебник физиологии.

Любовь, сказала ты, похожа  
На лепестков цветенье  
В сердце и питается  
Сияньем лучезарных тех цветов.

Она, очевидно, хочет сказать, что любить — это отдавать, что благословенная природа сердца такова, что, отдавая частицу за частицей, оно остается цельным и неисчерпаемым. К чему вечно отчаиваться из-за того, что не можешь ничего предпринять?

После истории с котом ему захотелось стать фермером, насколько ему помнится, потому, что спелая пшеница, росшая на полосе, так вкусно пахла. Потом он полюбил море и все, что в нем живет. Потом настал черед гор. Он пристрастился к прогулкам по горам, поросшим кустарником. Когда же он поднялся выше снеговой линии, его охватил восторг. Одно время он коллекционировал бабочек и в определенной системе прикалывал их к кускам картона. Крылья их высыхали, становились ломкими и крошились. Ему было противно. Но знать, что к чему, ему было нужно. Он всегда любил животных, птиц, диких зверей. У него никогда не было желания нанести им какой-то вред. Поморник-птенец заворочался у него в ладони, взъерошил перья и снова успокоился.

«Все это слишком трагично... безнадежно».

Что именно? И каков ответ? Никакого нет ответа. Но если я ничего не сделаю, то стану жертвой. Ответа нет. И если убью этого птенца, то ответа не получу все равно. А если я его отпущу, то и тогда ответа не будет. Если птенец подохнет, ничего не изменится. Если я убью его, то ничего не отниму от мира. Если отпущу, ничего не прибавлю.

Ветер торопливо мчался среди скал Мыса. Вихрь подхватил горсть мелкого гравия с края лоцины и швырнул Форбэшу в лицо. Слышно было, как налетевший вал гулко ударил о камни побережья.

Если бы все пингвины поумирали или были сожраны морскими леопардами, то ничего бы не изменилось. Если бы ни один поморник не селился более на скалах Мыса, то тоже ничего бы не изменилось. Жизнь — это не нечто индивидуальное, это цельное, большое, точно море. И потому я жертва. Но если я знаю, что я жертва, то я более не жертва. Я свободен.

Он крикнул. Голос его вырывался словно из самого сердца. «Я свободен. Свободен. Да. Я свободен. Хотя я и не понимаю этого, но я свободен».

На Мысе царил полная тишина.

Он осторожно положил птенца-поморника между своих ног. Тот распластался на земле, растопырив, словно защищаясь, крылья, и, изогнув безобразную шею, уставился на него твердыми глазами.

«Ты. Ты жертва, жалкий птенец». Форбэш толкнул его ногой и засмеялся, когда тот, во внезапном припадке страха, срыгнул на песок макака кусочки рыбы и пингвиного мяса. Пингвины — жертвы. Морские леопарды — жертвы, тюлени Уэдделла и Росса, тюлени-крабеды и морские слоны, киты-убийцы, лишайник, растущий на камнях, водоросли в озере Пони, которые возвращаются к жизни, как только растает лед, — все они жертвы. Люди же свободны лишь тогда, когда они об этом знают. Это совсем не значит, что люди хотят владычествовать над животными. Они просто хотят понять. Просто хотят жить плодотворной, сознательной жизнью, хотят что-то творить. Он подумал о двух мертвых поморниках, пльвших по озеру Прибрежному вверх ногами, распластав крылья. То, что он это сделал, было ненормально. Это противоречило... противоречило чему-то, а чему именно, он не знал.

Птенец пополз прочь — сперва очень медленно, волоча по гравия длинные неуклюжие крылья, потом бросился бежать вверх по склону лоцины к своему гнездовью.

Поморник, сидевший на камне, закаркал, закинув назад крылья, победно выпятив надутую грудь. Форбэшу показалось, что в крике птицы прозвучало удовлетворение.

# 12

В ФЕВРАЛЕ ПОХОЛЮДАЛО. ОТ ЮЖНЫХ ветров море побелело. Целых пять дней туманное небо было закрыто тучами снега. Ветер дул порывами. Наполовину оперившиеся птенцы промокли, вид их был жалок. Форбэш глядел, как по очистившемуся ото льда проливу сновали суда, а над ними летали самолеты. То были последние рейсы перед наступлением зимы. Он чувствовал какое-то смутное возбуждение при мысли о скором возвращении домой, но внешне оставался спокойным до самого отъезда. По правде

говоря, ему не очень-то хотелось уезжать, и когда очередная партия подросших пингвинят отправилась к морю и храбро плыла на север, огибая мыс, ему казалось, что он утрачивает частицу самого себя. Несколько сотен птиц стояли с удрученным видом.

С базы Скотт ему сообщили, что последний рейс домой будет 3 марта, и он нетерпеливо ждал, когда последний птенец оставит колонию, чтобы можно было сесть на этот самолет со спокойным сердцем. У поморников проходила последняя стадия ухода и постройки гнезд, видно, сопровождаемая заверениями в верности, которую они будут хранить друг другу всю долгую темную ночь: ведь они расстанутся до той поры, когда снова станут высиживать и выращивать птенцов.

Вечером 1 марта на побережье собрались последние пять пингвинят. Поднявшись на свой трон, Форбэш сидел и, несмотря на холод, ждал, когда они отправятся в путь. В полночь стемнело настолько, что он едва различал птенцов, но слышал их болтовню и препирательства на берегу. Он, должно быть, вздремнул, потому что в четыре часа, когда небо на юге начало проясняться и стало светло, он обнаружил, что птенцы исчезли.

В колонии было тихо. Несколько десятков оставшихся птиц бродили меж камней, когда он возвращался к хижине Шеклтана. Поморники учили своих птенцов летать.

После завтрака, вызвав базу Скотт по аварийному расписанию и попросив выслать вертолет, он стал упаковывать последние пожитки. В семь вечера за ним прилетел Эл Уайзер. К этому времени Форбэш успел снести на «вертодром» свои вещи. Прежде чем уйти, он заколотил ставни и надежно припер двери.

Когда вертолет поднялся в воздух, он увидел, что море начинает замерзать. Вдоль пролива дул ветерок, с севера шла мертвая зыбь. Поверхность моря подернулась пленкой ледяных кристаллов, которая, точно перламутр, блестела в лучах солнца, висевшего над горизонтом. Зыбь проникла под слой ледяного «сала», и море походило на мускулистое тело борца. На фоне темно-зеленой воды резко выделялись черные силуэты островов. Снеговые тучи обложили с боков Эребус. Море напоминало жемчуг или пористую гладкую кожу, на которой играли тускло-серые, голубые, пурпурные и оранжевые блики. Море было каким-то женственным и чувственным. Форбэшу мерещилось тепло, нежные объятия. По проливу плыл айсберг, распарывая и как бы пожирая плоть моря.

38 коп.

---

ГИДРОМЕТЕОИЗДАТ

---

ЛЕНИНГРАД

---

1969

---